

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ

Отв. ред.

В. А. Гуторов, Д. А. Мальцева

Издательство РХГА

Санкт-Петербург

2022

УДК 338.2:658

ББК 65

С56

*Издание подготовлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований в рамках
научного проекта № 20-011-00393 «Координационные эффекты
стратегического управления политико-административными
процессами в условиях цифровизации»*

Рецензенты:

д-р полит. наук А. А. Ширинянц (Московский гос. ун-т);
д-р полит. наук В. А. Ачкасов (Санкт-Петербургский гос. ун-т)

Авторский коллектив:

А. В. Алейников (глава 5); О. А. Алексеев (глава 3); В. А. Волков (глава 4);
П. Ю. Гурушкин (глава 6); В. А. Гуторов (предисловие, глава 1); В. Н. Дру-
жинина (глава 10); К. Ф. Завершинский (глава 9); А. И. Корюшкин
(глава 7); А. В. Курочкин (глава 1); Д. А. Мальцева (предисловие, глава 5,
глава 12); Н. В. Полякова (глава 11); В. Ю. Пашкус; (глава 8); Я. В. Сама-
рин (глава 2); О. Д. Сафонова (глава 12); И. В. Степакова (глава 10);
П. Р. Тузова (глава 12)

С56 **Современные политические стратегии.** Коллективная моногра-
фия / Отв. ред. В. А. Гуторов, Д. А. Мальцева. — СПб.: Изда-
тельство РХГА, 2022. — 282 с.

ISBN 978-5-907613-15-7

УДК 338.2:658

ББК 65

ISBN 978-5-907613-15-7

© Коллектив авторов, 2022

© Издательство РХГА, 2022

Аннотация: Монография отражает теоретические и прикладные результаты исследования, проведенного при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 20-011-00393 «Координационные эффекты стратегического управления политико-административными процессами в условиях цифровизации».

В книге представлены результаты совместной работы политологов, философов, социологов, экономистов Санкт-Петербургского университета, представляющих различные научные направления и школы и использующих различные методологии, сопоставление которых позволяет в конечном итоге более глубоко понять и оценить все многообразие проблем анализа стратегической мысли и стратегических практик в современном мире. Исследуются многочисленные дискуссии вокруг концепции «большой стратегии» и сложных проблем их современных интерпретаций; анализируются теоретические дискуссии в США по вопросу выбора стратегии внешней политики; дается интерпретация основных тенденций современных внешнеполитических стратегий мировых держав; рассмотрены основные эколоитические стратегии, формировавшиеся на протяжении второй половины XX и первой четверти XXI века; анализируются сложные проблемы стратегии и тактики политического управления рисками в условиях в «VUCA-среде» (Volatility — нестабильность, Uncertainty — неопределенность, Complexity — сложность, Ambiguity — неоднозначность); раскрывается сущность и содержание основных элементов глобальной системы построения стратегий коммуникационного менеджмента; анализируется возникновение и развитие методологии и практик Форсайта; анализируются бренды территорий и их стратегическое позиционирование в соответствии с матрицей конкурентоспособности; рассматривается специфика и роль символических стратегий в политических коммуникациях; рассматриваются особенности стратегий взаимодействия государства и религиозных организаций; изучаются различные аспекты модели «больших вызовов» как актуальной основы биомедицинского стратегирования.

Ключевые слова: большая стратегия, стратегическое мышление, война, международная политика, менеджмент, стратегический провал, фрейминг риска, управление коммуникациями, киберконфликт, технология Форсайта, символические стратегии, государственно-конфессиональные отношения, биомедицинское стратегирование, информационный менеджмент.

Abstract: The monograph reflects the theoretical and applied results of a study conducted with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research within the framework of the scientific project No. 20-011-00393 “Coordinating effects of strategic management of political and administrative processes in the context of digitalization”.

The book is the result of a joint work of political scientists, philosophers, sociologists, economists of St. Petersburg University representing various scientific directions and schools and using various methodologies, the comparison of which ultimately allows a deeper understanding and evaluation of the whole variety of problems in the analysis of strategic thought and strategic practices in the modern world. Numerous discussions around the concept of “grand strategy” and the complex problems of their modern interpretations are explored; the theoretical discussions in the United States on the choice of foreign policy strategy are analyzed; an interpretation of the main trends in modern foreign policy strategies of the world powers is represented; the main eopolitical strategies that were formed during the second half of the 20th and the first quarter of the 21st century are considered; the complex problems of the strategy and tactics of political risk management under conditions in the “VUCA-environment” (Volatility — instability, Uncertainty — uncertainty), Complexity — complexity, Ambiguity — ambiguity) are analyzed; the essence and content of the main elements of the global system for building communication management strategies are revealed; the emergence and development of Foresight methodology and practices are analyzed; territory brands and their strategic positioning are analyzed in accordance with the competitiveness matrix; the specifics and role of symbolic strategies in political communications are considered; the features of the strategies of interaction between the state and religious organizations are considered; various aspects of the “big challenges” model as an actual basis for biomedical strategizing are studied.

Keywords: grand strategy, strategic thinking, war, international politics, management, strategic failure, risk framing, communication management, cyber conflict, Foresight technology, symbolic strategies, state-confessional relations, biomedical strategizing, information management.

Стратегия — это система приемов и средств для достижения цели; это улучшение изначальной ведущей мысли в соответствии с постоянно меняющимися ситуациями.

Helmut von Moltke. On Strategy // Militärische Werke, Vol. II. Berlin, 1900, p. 219

Стратегическая мысль черпает вдохновение в каждом столетии, или, скорее, в каждый момент истории, в проблемах, которые ставят сами события.

Aron R. The Evolution of Modern Strategic Thought // Problems of Modern Strategy. Ed. by Raymond Aron. London, 1970, p. 7

Часто слово «стратегия» оказывается поводом для недоразумений, поскольку оно очень сильно ассоциируется с финалистской философией действия, с идеей, будто задавать стратегию — значит задавать явные цели, на которые должно ориентироваться актуальное действие. На самом деле я придаю этому слову совсем не этот смысл; я полагаю, что стратегии отсылают к последовательностям действий, упорядоченных по отношению к определенной цели, но это не значит, что их принципом выступает объективно достигнутая цель или же что объективно достигнутая цель задается в качестве явной цели действия.

Бурдьё П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). М.: Издательский дом ДЕЛО, 2016. С. 447

ПРЕДИСЛОВИЕ

Монография «Современные политические стратегии» является результатом совместной работы политологов, философов, социологов, экономистов Санкт-Петербургского университета, представляющих различные научные направления и школы и использующих различные методологии, сопоставление которых позволяет в конечном итоге более глубоко понять и оценить все многообразие проблем анализа стратегической мысли и стратегических практик в современном мире.

Повсеместное использование самого понятия «стратегия» в общественных и гуманитарных науках, равно как и признание значимости междисциплинарного подхода в области стратегических исследований, разумеется, не означает стремление специалистов «оторвать» стратегию от ее исторически обусловленных истоков, связанных с военными конфликтами и общими принципами ведения войны. Речь идет не столько об универсализации стратегической проблематики как таковой, но, скорее, о культурно обусловленном намерении трансформировать ее «военный потенциал», направив его на изучение других сфер социальной жизни, конфликтная составляющая которых является постоянным источником динамизма и развития.

Тем не менее споры о специфике понятийного аппарата стратегических исследований продолжают и даже имеют тенденцию к интенсификации, по крайней мере, на протяжении последних трех десятилетий. Например, в девятом издании своей огромной работы «Современный стратегический анализ» (более 700 убористых страниц!) известный британский специалист Роберт М. Грант рассматривает как данность общность элементов военной стратегии и стратегии фирм: «Предприятиям нужны бизнес-стратегии по той же причине, по которой армиям нужны военные стратегии: чтобы задавать направление и цель, наиболее эффективно разворачивать ресурсы и координировать решения, принимаемые разными людьми. Многие концепции и теории бизнес-стратегии берут начало в военной стратегии. Термин “стратегия” происходит от греческого слова “стратегия”, означающего “полководческое искусство”. Однако концепция стратегии возникла не у греков: классический трактат Сунь-цзы “Искусство войны” примерно 500 г. до н. э. считается первым трактатом по стратегии. Военная стратегия и бизнес-стратегия разделяют ряд общих концепций и принципов, самым основным из которых является различие между стратегией и тактикой. Стратегия — это общий план использования ресурсов для создания выгодной позиции; тактика — это схема определенного действия. В то время как тактика связана с маневрами, необходимыми для победы в битвах, стратегия связана с победой в войне. Стратегические решения, будь то в военной или деловой сфере, имеют три общие характеристики:

- они важны
- они требуют значительных затрат ресурсов
- они не так легко обратимы»¹.

¹ Grant R. M. Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases. Ninth Edition. Padstow, Cornwall: Wiley, 2016. P. 12.

Такого рода синтетические идеи нередко встречают резкое противодействие у сторонников классического исторического подхода к интерпретации стратегий. «Слово стратегия, — отмечает оксфордский историк войны Хью Страхан, приобрело универсальность, которая лишила его смысла и оставила только банальности. У правительств есть стратегии решения проблем образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и жилищного строительства в центре города. У рекламных компаний есть стратегии по продаже косметики или одежды. Стратегические исследования процветают в бизнес-школах больше, чем на факультетах международных отношений. Книжные киоски аэропорта выставляют ряды книг в мягких обложках, переделывающих “Искусство войны” Сунь-цзы. Джеральд Майклсон является лидером в этой области: его названия говорят сами за себя: *Сунь-цзы: искусство войны для менеджеров, 50 стратегических правил* (2001 г.) и *Стратегии Сунь-цзы для маркетинга: 12 основных принципов победы в войне за клиентов* (2003 г.). Но стратегические исследования — это не бизнес-исследования, а стратегия, вопреки уверенности Джорджа Буша и Джека Стро в обратном, не синоним политики. Клаузевиц определял стратегию как “действия, предпринимаемые в целях войны”. Он не определял политику. Клаузевиц сосредоточил внимание на нации и государстве, а не на партийной политике... Сегодня для историка стратегические исследования представляют собой интересный парадокс. Тридцать лет назад стратегические исследования были гибридом, дисциплинарной смесью истории, политики, права, некоторой экономики и даже немного математики. Сегодня этот предмет все чаще используется факультетами политических наук, а его идентичность часто обозначается аморфным названием «исследования безопасности». В результате изучение стратегии было в значительной степени оторвано от исторических корней, в которых оно впервые процветало. Это не означает, что история не

имеет ценности для политологов. Они постоянно используют тематические исследования, но, как правило, выбирают те темы, которые подтверждают или опровергают тезис, а не предметы, которые следует изучать в их собственном историческом контексте. Истории, рассказанные без контекста, стирают низкие тона и тканевую основу истории, ощущение того, что действительно является новым и изменяющимся, в отличие от того, что остается неизменным...»¹

Представленные в коллективной монографии главы демонстрируют, конечно, гораздо более многообразную палитру интерпретаций стратегий. Основной момент заключается в отчетливо выраженной акцентировке ее авторов как на общетеоретических аспектах стратегических исследований, так и на разнообразии стратегических практик, специфика которых обусловлена конкретными сферами их реализации. Следует вместе с тем подчеркнуть, что в общетеоретическом плане все участники петербургского исследовательского проекта разделяют следующую позицию Колина Грея, одного из наиболее влиятельных современных теоретиков в области стратегического анализа и стратегической культуры: «Есть только одна теория стратегии; ее функция — обучать тех, чья профессия заключается в том, чтобы держать мост между политикой и действием. Эти люди стратеги. Теория должна раскрыть общий характер стратегии, а также объяснить элементы, которые формируют и определяют конкретные исторические стратегии. В природе стратегии заложено постоянное изменение ее исторического, специфического характера. Первое так же постоянно, как второе нет. Теория должна объяснить и то, и другое. Изучение “гидроголового” характера стратегии тяготеет к двойному составному поведению разработки стратегии и ее реализации. Поскольку конкретные стратегии

¹ Strachan H. The Direction of War: Contemporary Strategy in Historical Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. P. 30-31, 253.

в истории отражают применение принципов общей теории, очень важно подходить к предмету, рассматривать и практиковать его целостно. Стратегию и стратегии, теорию и практику следует рассматривать как единое целое. Теория должна быть способна помочь в обучении области практики, помогая людям мыслить стратегически. Общую теорию стратегии можно сравнить с отмычкой, которая может концептуально расширить возможности стратегов, открывая каждую дверь для каждого персонажа и любого вида стратегической задачи. Общий теоретический ключ не может сам по себе решать проблемы, но он должен значительно повысить способность его пользователей работать эффективно.

Общая теория должна ответить на четыре фундаментальных вопроса:

1. Что такое стратегия?
2. Как и кем создается стратегия?
3. Как выполняется стратегия?
4. Что делает стратегия? последствия»¹.

...

В первой главе «Большая стратегия: актуальные проблемы политической аналитики» исследуется одно из самых сложных понятий в современной политической науке и теории международных отношений. Академические ученые и эксперты постоянно расходятся во мнениях по вопросу о том, является ли большая стратегия полезной концепцией, донкихотским или даже пагубным занятием. В результате многочисленные дискуссии вокруг большой стратегии нередко бывают запутанными, политически ангажированными и поверхностными. В главе анализируются сложные проблемы взаимосвязи современных интерпретаций большой стратегии

¹ Gray C. S. Strategy Bridge: Theory for Practice. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010. P. 16.

(Дж. Ф. Ч. Фуллер, Б. Х. Лиддел Харт, К. Грей, П. А. Рахе, Х. Брандс, Л. Милевски, Мэнь Хунхуа, Р. Гилпин, Р. Швеллер, Р. Джервис и др.) с классическими теориями стратегии эпохи модерна (К. фон Клаузевиц, Б. А. А. Жомини). Авторы подчеркивают, что большая стратегия — одна из высших форм политического управления. Она представляет собой своеобразную интеллектуальную матрицу, структурирующую мировую политику. Понимание ее логики во многом способствует решению сложных внешнеполитических проблем. Выработка последовательного, целенаправленного подхода к международной политике чревата противоречиями, учитывая хаотичную природу глобальных отношений.

Во второй главе «Формирование внешнеполитических стратегий США (конец XIX — начало XX в.)» анализируются теоретические дискуссии в Соединенных Штатах по вопросу выбора стратегии внешней политики в конце XIX — нач. XX вв. В этот период США вошли в число ведущих держав и выступали за реформу системы международных отношений после Первой мировой войны. Можно выделить несколько наиболее влиятельных групп, сформулировавших свои стратегические концепции: либеральные интернационалисты, консервативные интернационалисты и националисты-джексонианцы. Либеральные интернационалисты выступали за создание системы коллективной безопасности, международную организацию и защиту права наций на самоопределение. Стратегия консервативных интернационалистов заключалась в том, что США должны обеспечить себе лидерство путем укрепления военной мощи и создания ограниченных военных альянсов. С точки зрения джексонианцев, США не следует брать на себя обязательства перед мировым сообществом. Интернационализм для них был сравним с большевизмом по масштабу угрозы, которую он несет американским ценностям. Именно эти группы оказывали влияние на политику США в течение следующего столетия.

В третьей главе «Киберконфликты и информационные войны в современных внешнеполитических стратегиях» представлена интерпретация основных тенденций современных внешнеполитических стратегий мировых держав (прежде всего США и России как ведущих «игроков» развертывающегося геополитического конфликта), а также раскрыта роль концептов «киберконфликта» и «информационной войны» в их формировании. Уточнены моменты общего и особенного в формировании данных концептов для понимания виртуализации и геймификации современных политических процессов и логики трансформации стратегий и инструментов политического влияния. С позиций политического реализма обосновывается необходимость ревизии методологического инструментария политической науки, что позволяет в происходящих событиях «прочитывать» намерения сторон, а за декларативными стратегиями видеть реальные долгосрочные политические стратегии и их эволюцию.

В четвертой главе «Экополитические стратегии в дискурсивном измерении: теория и практика» рассматриваются основные экополитические стратегии, формировавшиеся на протяжении второй половины XX и первой четверти XXI века. В начале главы даются характеристики экологического кризиса, возникшего в результате закономерного развития индустриальной цивилизации, которая достигла своих пределов. Две основные концепции экологического кризиса определяют возможный спектр формирования экополитических стратегий. Представленный обзор носит логико-хронологический характер. Первые стратегии пытаются определить пространство целей и ценностей и формируются в границах классических мировоззренческих тенденций: стратегии консервативного энвайронментализма, стратегии консервативного либертарианского энвайронментализма, стратегии либерального энвайронментализма, стратегии экологического социализма.

В пятой главе «**Рефлексивные стратегии управления «VUCA-рисками»: политическое измерение»** анализируются сложные проблемы стратегии и тактики политического управления рисками в условиях в «VUCA-среде» (Volatility — нестабильность, Uncertainty — неопределенность, Complexity — сложность, Ambiguity — неоднозначность). Авторы рассматривают типологию «провалов» современных рефлексивных стратегий, выделяя институциональные, распределительные, поведенческие и патерналистские. Особое внимание уделено антагонистическому дискурсу о риске «риск-бенефициаров» и «риск-аутсайдеров». Авторы подчеркивают, что фальсификация восприятия риска позволяет риск-бенефициарам конструировать риск-рефлексии и поведение риск-аутсайдеров, либо принуждая к поощряемым формам рискованной деятельности, либо запрещая неприемлемые для них ее формы, предлагают классификацию фрейминга риска и «контрриторических стратегий» противодействия номинированию социальных проблем как рискогенных.

В шестой главе «**Стратегии коммуникационного менеджмента»** раскрывается сущность и содержание основных элементов глобальной системы построения стратегий коммуникационного менеджмента. Сегодня управление коммуникациями всё больше привлекает внимание специалистов в области политики и бизнеса, что требует постоянной актуализации знаний в области работы с информацией. Предложенная Г. Ласуэллом схема передачи сообщения от отправителя к получателю, ставшая основой теории коммуникаций, хоть и претерпела в современных реалиях множество изменений, тем не менее, продолжает оставаться валидной, вбирая в себя все достижения управленческой науки. Исследования в области «organization studies» изначально были оформлены в качестве практических рекомендаций по деловому общению и переговорам, но уже к середине XX в. развились в полноценное

научное направление, которое занимает достойное место в кластере гуманитарных наук. Организационная коммуникация — это уникальная область знания со своей богатой историей, тенденциями и методологиями исследований. Краткий системный подход, посредством взаимодополнения классических и новых методов и инструментов, позволил рассмотреть коммуникационный менеджмент как самостоятельную научно-практическую единицу в сегменте управленческих направлений, где ключевую роль играет человеческий фактор со всеми сложностями межличностных отношений. Сущность коммуникационного менеджмента раскрывается поступательно от ключевых понятий к функциональным характеристикам каждого составного элемента: вертикальное (нисходящее/восходящее) и горизонтальное взаимодействие, внутреннее, внешние, формальные и неформальные коммуникации. В контексте повышения эффективности коммуникационных связей в организации рассматривается проблема конфликтов, где особое внимание обращено на конструктивные функции возникающих противоречий, и доминирующую роль играет непосредственно процесс управления.

В седьмой главе «**“Форсайт участия” как стратегическая политико-коммуникативная технология исследования и формирования будущего**» предлагается анализ возникновения и развития методологии и практик Форсайта с обоснованием необходимости и возможности разработки и внедрения технологии партиципаторного Форсайта, определяемого здесь как Форсайт участия. Процесс разработки и все более широкого применения технологии Форсайта, преодолевающего узкие рамки прогнозирования будущего, начался с конца 1980-х годов, а сам Форсайт представляет собой обширный набор качественных и количественных средств мониторинга признаков и индикаторов возникающих трендов развития науки, технологий и инноваций, который можно наилучшим

образом использовать для перспективной разработки публичной политики. В предложенной здесь характеристике пяти поколений Форсайта обнаруживается логика его развития от технологического прогнозирования и ориентации на анализ внутренней динамики технологий и их связи с развитием рынка к включению более широких научно-инновационных систем, покрывающих все сферы публичной политики и заключающих в себе стратегический процесс принятия решений. В начале 2000-х годов, в ситуации, когда современные демократии испытывают снижение уровня доверия и участия, и сама модель представительной демократии под вопросом, в технологии Форсайта возникает партиципаторный подход, призванный преодолеть политико-бюрократический и узко-экспертный характер исследований традиционного Форсайта, стимулирующий интегрированное вовлечение широкого круга граждан в процесс исследования будущего и признающий такие порождаемые в этом процессе образы будущего и устремления граждан в качестве важнейших факторов разработки и имплементации технологических и социальных инноваций и формирования политики будущего в целом. Эффективное включение граждан в эту деятельность должно и может быть реализовано в рамках разработки и реализации проектов партиципаторного Форсайта, «Форсайта участия» как стратегической политико-коммуникативной технологии исследования и формирования будущего, как важнейшего элемента реализации идеи и развития практики партиципаторной Демократии, «Демократии участия».

В восьмой главе «Стратегия прорывного позиционирования и ее применение при продвижении брендов территорий» анализируются бренды территорий и их стратегическое позиционирование в соответствии с матрицей конкурентоспособности. Сильный бренд территории является важнейшим активом, позволяющим повысить ее конкурентный статус.

В работе анализируются возможности прорывной стратегии позиционирования при выборе для территории одной из эффективных стратегий позиционирования в соответствующей плоскости «дизайн-технологии». В статье показано, что повышение конкурентоспособности территории что в глобальной экономике, что в национальной, по сути, высокорентабельно, а реализация эффективной стратегии позиционирования определяет глобальную конкурентоспособность города и его успех в привлечении туристов, инвестиций и доходов от вовлечения различных групп потребителей. Результаты работы касались выявления возможностей применения стратегии прорывного позиционирования перспективных городов; оценки конкурентного статуса городского бренда, сделан вывод о том, что применение стратегии прорывного позиционирования в продвижении культурного бренда территории требует реализации комплексной программы развития территории, основанной на выбранных атрибутах бренда и комплексе взаимосвязанных мер по активизации ключевых факторов успеха территории.

В девятой главе «Символические стратегии политического позиционирования» рассматривается специфика и роль символических стратегий в политических коммуникациях. Диверсификация символического производства, умножение акторов политических коммуникаций, растущая вариативность политических идеологий и способов репрезентации политики актуализирует моделирование процессов корреляции политических событий и практик с системами символов как специфической политической коммуникации, нацеленной на социальное конструирование пространственно-временного дизайна политической культуры в тех или иных национальных сообществах. По мнению автора, это позволяет учитывать различия в восприятии участниками политических коммуникаций значимости тех или иных политических событий и особенности

позиционирования политических акторов. Решающую роль в исследовании специфики символических стратегий и возникающих при этом стратегических нарративов играет изучение динамики символических структур национальной памяти, включающих разнообразные конкурирующие символические репрезентации образов прошлого и будущего, типологии героического, представлений о вине и ответственности. Стратегические нарративы являются неотъемлемым компонентом символической политики при социальном конструировании политических сообществ, создавая символические структуры для конвенциональной интерпретации политических событий в условиях политической непредсказуемости. Подобный процесс политической наррации обеспечивает смысловую институционализацию политического пространства, снижая потенциал конфликтности многообразных политических дискурсов, возникающих в процессе политических коммуникаций, связанных с процессом борьбы за политическое доминирование. Стратегические политические нарративы не только стабилизируют политическую память сообществ, интегрируя конкурирующие частные политические дискурсы, но и побуждают участников политических коммуникаций действовать определённым образом, качественно изменяя политическую реальность. Автор подчеркивает важность анализа действенности символических структур политической памяти и роли стратегических нарратив при исследовании эффективности символической политики. Стратегические нарративы обеспечивают политическую преемственность профилей легитимации национальной памяти в условиях политической непредсказуемости. Используя теоретические и практические экспликации современной культурсоциологии как методологическую основу, автор предлагает новые теоретические подходы к изучению символических практик и стратегических сценариев прогнозирования динамики современных политических коммуникаций.

В десятой главе «Государство и религиозные организации: стратегии взаимодействия» рассматриваются особенности стратегий взаимодействия государства и религиозных организаций. Анализируя мировые модели взаимодействия государства и религиозных организаций, можно прийти к выводу, что в Российской Федерации сложилась уникальная модель государственно-конфессиональных отношений, обусловленная особенностями исторического развития, статуса РПЦ и менталитета граждан. Принципы толерантности, свободы совести и вероисповедания являются основополагающими при выборе стратегии взаимодействия демократического российского государства и религиозных организаций. Деятельность структурных подразделений органов государственной власти РФ в стратегическом плане направлена на формирование эффективного диалога между государством и конфессиями.

В одиннадцатой главе «Модель “больших вызовов” как основа биомедицинского стратегирования в политике современного государства» представлены различные аспекты модели «больших вызовов» как актуальной основы биомедицинского стратегирования современного государства. Отмечается, что в современных условиях государственное стратегирование в области биомедицины становится распространенной мировой практикой, осуществляемой посредством как включения этого направления в общие научно-инновационные стратегии стран, так и разработок специализированных документов, в которых активно используется парадигма «больших вызовов». Автор концентрируется на анализе специфики стратегического перехода к модели «больших вызовов» в российском контексте на примере развития биомедицины в ее разнообразных аспектах. Так обращается внимание, что в настоящее время в Российской Федерации элементы биомедицинского стратегирования оказались вписаны в долгосрочную федеральную «Стратегию научно-технологического развития России до

2035 г.», утвержденную указом Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016 г., в рамках которой впервые в российской практике стратегических разработок была применена парадигма «больших вызовов» как методический подход в государственной научной и инновационной политике. Вместе с тем подчеркивается, что стратегирование в данной области развивается в российском варианте и по пути создания специализированных документов отдельных государственных программ и проектов, которые предусматривают поэтапное осуществление перехода к модели «больших вызовов». При этом отмечается, что стратегия ответов на «большие вызовы» рассматривается на всех уровнях, с одной стороны, как превентивное парирование угроз национальной безопасности, а с другой — как инструмент эффективного использования благоприятных возможностей для устойчивого развития. Делается вывод, что на государственном уровне применение парадигмы «больших вызовов» в области биомедицинского стратегирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе требует комплексного межотраслевого подхода и подразумевает, что для преодоления этих вызовов необходимы качественные (интенсивные) изменения внутри самой системы.

В двенадцатой главе «Стратегии и технологии информационного риск-менеджмента: вызовы цифровизации и медиатизации» концептуализируются инновационные технологии информационного риск-менеджмента в дискурсе политико-социальных процессов. Авторы артикулируют стратегии управления информационными рисками, тесно связанные с общей системой информационной безопасности, основанные на использовании специальных средств охраны информационных ресурсов, обеспечении непрерывной работы с немашинными носителями информации и конфиденциальными материалами, разграничении доступа к компьютерной

информации, защите от хакерских атак и инсайдеров. В главе подчеркивается глобальная значимость создания организационной структуры системы управления информационными рисками, разрабатываются практические рекомендации по имплементации эффективных сценариев информационного риск-менеджмента в политическом пространстве.

В. А. Гуторов, доктор философских наук, профессор;
Д. А. Мальцева, кандидат политических наук, доцент

ГЛАВА 1.

БОЛЬШАЯ СТРАТЕГИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНАЛИТИКИ

В современной международной политической теории термин «большая стратегия» является одним из наиболее проблематичных. Речь идет не только о сложности интерпретации традиционных исторических дискурсов и источников, но и о постоянных «проекциях» самого термина в сферы политической риторики и публицистики. Как отмечает американский политолог Х. Брандс в книге «Что хорошего в большой стратегии?», «академические ученые, журналисты и общественные деятели пишут книги и статьи, пропагандирующие отдельные большие стратегии США. Такие издания, как *Newsweek*, *New York Times* и *Washington Post*, публикуют статьи, обсуждающие эту тему. В 2008 году комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил даже провел слушания на тему “Новая большая стратегия Соединенных Штатов”. Большая стратегия становится все более заметной и в кампусах колледжей, а элитные школы, такие как Йельский, Колумбийский и Дьюкский университеты, разрабатывают программы по

этому вопросу... Но что такое “большая стратегия”? Почему она так важна и, казалось бы, так неуловима? Как оказалось, “большая стратегия” один из самых скользких и широко используемых терминов во внешнеполитическом лексиконе. Данное понятие часто используется, но реже определяется, и те, кто эту фразу формулирует, делают это множеством разных и часто противоречивых способов. Наблюдатели-эксперты также расходятся во мнениях по вопросу о том, является ли большая стратегия полезной концепцией или просто донкихотским и даже пагубным занятием. В результате обсуждение большой стратегии часто бывает запутанным или поверхностным» [Brands 2014: 5].

В новейшей работе «Большая стратегия Китая» проф. Мэнь Хунхуа также утверждает: «Происхождение термина “большая стратегия” теперь ускользает от нас. Но мы знаем, что первым, кто дал исчерпывающее ее описание с использованием данного концепта, был Б. Х. Лиддел Харт» [Men Honghua 2020: 5]. Суждение китайского специалиста, на наш взгляд, не является вполне корректным. Действительно, в своих работах 1920-х гг. Лиддел Харт уже использовал концепт «большая стратегия». Он считал, что «роль большой стратегии состоит в том, чтобы координировать и направлять все ресурсы нации или группы наций на достижение политической цели войны» [Liddell Hart 1967: 322]. Данный подход восходит к критике Б. Х. Лиддел Хартом определения стратегии К. фон Клаузевицем — «использование битвы как средства достижения цели войны» [Clausewitz 1978: 175]. С XVIII века до первой мировой войны сфера стратегического действия постепенно расширялась от отдельных сражений до более широкой картины войны. Например, Берон Антуан Анри Жомини давал следующее, весьма четкое определение: «Стратегия — это искусство вести войну на карте, и она охватывает весь театр военных действий» [Jomini 1986: 87]. Клаузевиц считал, что стратегия «не имеет общего ни с чем, кроме битвы»,

но в теоретическом плане такая позиция включает в себя непосредственную оценку вооруженной силы во всех ее реальных проявлениях [Clausewitz 1978: 103; ср.: Jomini 1986: 346].

Идеи, выдвинутые Жомини и Клаузевицем, заложили основу для дальнейшей интерпретации понятия «стратегия». После Первой мировой войны, по мере того как война становилась все более сложной и такие факторы, как экономика, наука и техника, культура и мораль, стали играть более важную роль, концепция стратегии приобретает все больше коннотаций. Новое ее измерение явно отражается в определении стратегии Б. Х. Лидделлом Хартом как «искусства распределения и применения военных средств для достижения целей политики» [Liddell Hart 1967: 335]. Это означало, что концепция стратегии в теоретическом плане больше не ограничивалась исключительно военной сферой. В частности, Лидделл Харт указывал, что в определении Клаузевица существуют как минимум два недостатка. Во-первых, это определение касается политической сферы, за которую отвечает правительство, а не военное руководство; во-вторых, оно ведет к неправильному пониманию или сводится к теории абсолютной войны, когда утверждается, что боевые действия являются единственным средством достижения военных целей. На самом деле, учитывая, что в наше время связь между политикой и военными действиями становится все более тесной, а технологии и формы войны оказываются более диверсифицированными, ограничение стратегической мысли военной сферой представляется крайне спорным. Лидделл Харт считал военную мощь лишь одним из инструментов большой стратегии: «Большая стратегия должна как рассчитывать, так и развивать экономические и людские ресурсы народов, чтобы поддерживать боевые службы. А также моральные ресурсы, поскольку возвращение народного духа нередко столь же важно, как и обладание более конкретными

формами власти. Более того, боевая мощь всего лишь один из инструментов большой стратегии, которая должна учитывать и применять силу финансового давления и, не в последнюю очередь, морального давления, чтобы ослабить волю противника... Кроме того, в то время как горизонт стратегии ограничен войной, большая стратегия смотрит за пределы войны в направлении последующего мира. Она должна не только сочетать различные инструменты, но и регулировать их использование таким образом, чтобы избежать ущерба для будущего состояния мира с целью его безопасности и процветания» [Liddell Hart 1967: 335]. Он определял большую стратегию как стратегию самого высокого уровня, функция которой состоит в том, чтобы координировать и направлять все военные, политические, экономические и моральные ресурсы нации или группы наций для достижения политической цели войны: это цель, определяемая фундаментальной политикой [см.: Liddell Hart 1967: 335–370].

Комментируя такого рода идеи, современный британский политолог Лукас Милевски в своей итоговой работе «Эволюция современной большой стратегической мысли», в частности, отмечал: «Представление о том, что Лидделл Харт изобрел большую стратегию, является простым и популярным. Принято считать, что никакой концепции большой стратегии не существовало до того, как Лидделл Харт обсудил ее в 1929 году в книге «Решающие войны истории». Это фактически неверно. Здесь достаточно указать, что Джон Фредерик Чарльз Фуллер разрабатывал свою собственную интерпретацию этой концепции еще в 1923 году в работе «Преобразование войны», где он посвятил большой стратегии целую главу и определил последнюю как «использование национальной энергии для целей войны». Более того, некоторые современники Фуллера и Лидделла Харта, казалось, не принимали во внимание их идеи о большой стратегии или не знали об этом. Халфорд Макиндер, например, считал ее

американской идеей. Это ведет непосредственно ко второй предполагаемой нити: Лидделл Харт, хотя и не изобрел саму концепцию, был первым, кто развил ее в узнаваемой современной форме. Согласно этому убеждению, вклад Лидделла Харта вместе с Эдвардом Мидом Эрлом заключался в том, чтобы решительно определить траекторию, по которой пойдет дальнейшая эволюция большой стратегии. Некоторые ученые указывали на Эрла как на более важную фигуру в развитии великой стратегической мысли, чем на Лидделла Харта. Однако обычно считается, что индивидуальный или совместный вклад Лидделла Харта и Эрла определил, какой должна быть большая стратегия. И действительно, они являются единственными двумя теоретиками, когда-либо упоминавшимися в стандартных исторических обзорах концепций большой стратегии. Обоснованность этого направления спорна, поскольку зависит от того, что считать определяющими чертами современной большой стратегической мысли. Существуют разные интерпретации. Колин Грей предполагает, что “если концепция большой стратегии должна иметь интеллектуальную целостность, она должна допускать необходимую связь с военной силой как не единственную определяющую характеристику”. Тем не менее, если принять это предположение, то ни Лидделл Харт, ни Эрл, ни даже Фуллер не основали современную концепцию большой стратегии. Скорее, это был Джулиан Корбетт, который, по-видимому, первым дал определение большой стратегии таким образом, чтобы оно учитывало невоенные инструменты. Фуллер был первым, кто определил большую стратегию как деятельность мирного времени, и исключительно так. Эрл был, по-видимому, первым, кто поднял большую стратегию над уровнем политики. Таким образом, второе направление может иметь некоторую долю правды, но только в соответствии с собственной интерпретацией обязательно современных черт великой стратегической

мысли, которую в настоящее время чрезмерно упрощает неполная история» [Milevski 2016: 4–5; см. также: Gray 2010: 4].

Весьма характерно, что многие современные специалисты — например, авторы фундаментальных трудов в области истории стратегической мысли и практик в Древней Греции и Риме — нередко склонны использовать именно идеи Фуллера в качестве основы для своего анализа. В этом плане особенно примечательным является четырехтомный труд Пола Энтони Рахе «Большая стратегия классической Спарты», опубликованный в 2015–2020 гг. [см.: Rahe 2015, 2016, 2019, 2020]. Трудно, конечно, удержаться от мысли, что Рахе — американский антиковед, историк и политолог, известный своими работами о Макиавелли, Монтескьё, Руссо, Токвиле, а также фундаментальной трехтомной монографии «Republics Ancient and Modern», написал четыре тома о большой стратегии Спарты в качестве своеобразной альтернативы знаменитым книгам Эдварда Люттвака о больших стратегиях римской и византийской империй [см.: Luttwak 2009, 2016]. Равно как и на книгу А. Уэсса Митчелла «Большая стратегия империи Габсбургов» [Wess Mitchell 2018]. Например, в своей третьей книге о Спарте Рахе специально отмечает: «В этом томе я описываю, как победившие эллины постепенно и неуклюже вырабатывали послевоенное урегулирование, которое, казалось, устраивало все заинтересованные стороны, и уделяю особое внимание, как и в предыдущем томе, забытому аспекту истории — большой стратегии, которой следовали лакедемоняне, логике, лежавшей в ее основе, и основному вызову, которому она подвергалась в этот период... Безусловно, каждое государство стремится сохранить себя; и в этом ключевом смысле все государства действительно родственны. Но существуют также, как я утверждаю, моральные императивы, свойственные отдельным режимам; и, если цель состоит в том, чтобы понять, их нельзя отбрасывать и демонстративно отметить или

просто игнорировать на благовидных “методологических” основаниях. В самом деле, если полностью абстрагироваться от императивов режима, если рассматривать Спарту, Персию, Коринф, Аргос и Афины просто как “государственных акторов”, эквивалентных и взаимозаменяемых, как это делают сторонники Realpolitik, можно многое упустить из того, что происходит» [Rahe 2019: 4–5].

Именно с учетом этой широкой перспективы, продолжает Рахе, Дж. Ф. Х. Фуллер развивал свою концепцию большой стратегии: «первая обязанность большого стратега состоит в том, чтобы... оценить торговое и финансовое положение своей страны; выяснить, каковы его ресурсы и пассивы. Во-вторых, он должен понимать нравственные качества своих соотечественников, их историю, особенности, социальные обычаи и систему правления, ибо все эти количества и качества образуют столпы военной дуги, которую он должен построить”. С этой целью... большой стратег должен “изучать постоянные характеристики и медленно изменяющиеся институты народа, к которому он принадлежит и который он призван защищать от войны и поражения. На самом деле он должен быть ученым историком и дальновидным философом, а также искусным стратегом и тактиком”» [Rahe 2019: 6]. Имея это в виду, Фуллер провел четкое различие между стратегией и большой стратегией. «Первая, — как он объяснил, — “более конкретно связана с движением вооруженных масс”, в то время как последняя, “включая эти движения, охватывает движущие силы, которые стоят за ними”, будь то “материальные” или “психологические”. Короче говоря, “с большой стратегической точки зрения столь же важно осознавать качество моральной силы народа, как и количество его людских ресурсов”. С этой целью великий стратег должен позаботиться о том, чтобы во всей его стране и ее вооруженных силах утвердить “общую мысль — волю к победе”, и в то же время он должен подумывать о том, как лишить соперников своей страны той

же самой воли. Если он хочет наметить для своего народа “план действий”, он должен узнать “объем могущества всех иностранных государств и их влияния на его собственное государство”. Только тогда он “будет в состоянии, с точки зрения тактики, направить имеющиеся в его распоряжении силы по экономическому и военному пути наименьшего сопротивления, ведущему к моральному резерву его противника”, который, как он заметил, состоит, главным образом, в моральном духе “гражданского населения” этой страны» [Rahe 2019: 6; см. также: Fuller 1923: 211–221].

По общему признанию современных специалистов, Фуллер стимулировал историзм в трактовках большой стратегии. Напротив, те авторы, которые склонны к модернистским подходам, стремятся найти других предшественников, весьма далеких от классической традиции. Например, в работе А. Г. Платиаса и К. Колиопулоса «Фукидид о стратегии», близкой по своим сюжетам к книгам П. Э. Рахе, мы встречаемся как раз с такого рода модернизацией, которая проявляется в довольно неисторичной трактовке как личности Фукидида, так и стратегических идей великого историка [см., например: Platias, Koliopoulos 2010: 1–2].

В области современной теории международных отношений и мировой политики концептуальная парадигма «большой стратегии», составляющая теоретическую основу обозначенных выше современных исторических трудов, развивается в рамках теории «перехода гегемонии», разработанной Робертом Гилпином в книге «Война и изменение в мировой политике». Согласно Гилпину, по мере роста могущества государства оно стремится расширить свой территориальный контроль, свое политическое влияние и/или свое господство в международной экономике. В свою очередь, эти устремления имеют тенденцию к увеличению власти государства по мере того, как ему предоставляется все больше и больше ресурсов, способствующих получению экономических и поли-

тических преимуществ. Подъем и упадок господствующих государств и империй в значительной степени зависят от создания, а затем в конечном итоге и растрачивания данной экономической избыточности. Государство будет стремиться изменить международную систему посредством территориальной, политической и экономической экспансии до тех пор, пока предельные издержки дальнейшего расширения не будут равны предельным выгодам или превысят их. Согласно закону убывающей отдачи, государство на стадии властной зрелости начинает в какой-то момент сталкиваться как с уменьшением чистых выгод, так и с ростом издержек по мере расширения своей территориальной базы и усиления контроля над международной системой, что влечет за собой его упадок.

Дифференциальный рост власти клонящихся к упадку и вновь возникающих государств вызывает фундаментальное перераспределение власти и нарушение равновесия в системе. По мере роста своей относительной мощи восходящее государство пытается изменить правила, регулирующие международную систему, раздел сфер влияния и, прежде всего, международное распределение территории. В ответ на это гегемонистская держава, поскольку она пытается восстановить равновесие в системе, имеет, по сути, два открытых пути действий: оно стремится или увеличить ресурсы, направляемые на поддержание своих обязательств и положения в международной системе, или сокращать свои существующие обязательства (и связанные с ними расходы) таким образом, чтобы в конечном итоге не поставить под угрозу свое международное положение. В частности, предотвратить переход власти возможно тремя способами. Первый и наиболее привлекательный ответ на упадок общества — устранить источник проблемы, то есть начать превентивную войну, чтобы уничтожить или ослабить растущего соперника. Во-вторых, государство может стремиться снизить затраты на сохранение своего положения за счет дальнейшего расширения. Третье средство — сокращение

внешнеполитических обязательств, в том числе односторонний отказ от определенных обязательств, вступление в союзы с менее опасными державами или стремление к сближению с ними, а также уступки растущей державе и стремление тем самым удовлетворить ее амбиции [см.: Gilpin 1981: 109, 146, 158–191; ср.: Comparative Grand Strategy 2019].

Рэндалл Швеллер классифицировал государства на державы статус-кво и ревизионистские державы в соответствии с их взглядами на государственные интересы. Более конкретно, государства определяются как (1) неограниченные ревизионистские цели или революционные силы, (2) ограниченные ревизионистские цели, (3) безразличные к статус-кво, (4) статус-кво, но готовые принять мирные и ограниченные изменения, или (5) стойкий статус-кво и нежелание принимать какие-либо изменения [см.: Schweller 1995: 251–270].

Роберт Джервис выделил две модели реагирования на подъем великих держав, а именно *модель сдерживания* и *модель спинали*. Первая предписывает конкурентную политику: активное уравнивание и, если возможно, превентивную войну. Последняя, напротив, предписывает политику кооперации, защищая стратегию под названием «постепенные и взаимные инициативы по снижению напряженности», которая использует односторонние дорогостоящие уступки для завоевания доверия другой стороны [Jervis 1976: 58–113].

Большая стратегия — одна из высших форм политического управления. Она представляет собой своеобразную интеллектуальную матрицу, структурирующую мировую политику. Понимание ее логики во многом способствует решению сложных внешнеполитических проблем. Однако именно по этой причине аналитика большой стратегии неизменно представляет собой трудную задачу. Выработка последовательного, целенаправленного подхода к международной политике чревата противоречиями, учитывая хаотичную природу глобальных отношений. Парадокс состоит в том,

что адекватная большая стратегия, при всем ее значении для эффективной государственной политики, представляется политическим аналитикам настолько сложной, что нередко выглядит иллюзией.

Литература

1. Brands H. What Good is Grand Strategy: Power and Purpose in American Statecraft from Harry S. Truman to George W. Bush. Ithaca; London: Cornell University Press, 2014. 273 p.
2. Clausewitz C. von. On War. Beijing: The Commercial Press, 1978. 243 p.
3. Comparative Grand Strategy: A Framework and Cases. Ed. by Thierry Balzacq, Peter Dombrowski, Simon Reich. Oxford: Oxford University Press, 2019. 352 p.
4. Fuller J. F.C. The Reformation of War. London: Hutchinson, 1923. 287 p.
5. Gilpin R. War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 272 p.
6. Gray C. S. The Strategy Bridge: Theory for Practice. Oxford: Oxford University Press, 2010. 308 p.
7. Jervis R. Perception and Misperception in International Politics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1976. 544 p.
8. Jomini A.-H. The Art of War. Beijing: People's Liberation Army Publishing House, 1986. 364 p.
9. Liddell Hart B. H. Strategy: The Indirect Approach. London: Faber and Faber Ltd., 1967. 430 p.
10. Luttwak E. N. The Grand Strategy of the Roman Empire: From the First Century A. D. to the Third. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976. 649 p.
11. Luttwak E. N. The Grand Strategy of the Byzantine Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009. 513 p.
12. Men Honghua. China's Grand Strategy: A Framework Analysis. Singapore: Springer, 2020. 243 p.
13. Milewski L. The Evolution of Modern Grand Strategic Thought. Oxford: Oxford University Press, 2016. 175 p.

14. Platias A. G., Koliopoulos C. *Thucydides on Strategy: Grand Strategies in the Peloponnesian War and Its Relevance Today*. New York: Columbia University Press, 2010. 256 p.

15. Rahe P. A. *The Grand Strategy of Classical Sparta: The Persian Challenge*. New Haven; London: Yale University Press, 2015. 212 p.

16. Rahe P. A. *The Spartan Regime: Its Character, Origins, and Grand Strategy*. New Haven; London: Yale University Press, 2016. 408 p.

17. Rahe P. A. *Sparta's First Attic War: The Grand Strategy of Classical Sparta, 478–446 B. C.* New Haven; London: Yale University Press, 2019. 314 p.

18. Rahe P. A. *Sparta's Second Attic War: The Grand Strategy of Classical Sparta, 446–418 B. C.* New Haven; London: Yale University Press, 2020. 384 p.

19. Schweller R. *Bandwagoning for Profit: Bring the Revisionist State Back // The Perils of Anarchy: Contemporary Realism and International Security*. Ed. by Michael Brown, Sean M. Lynn-Jones, Steven E. Miller. Cambridge; London: The MIT Press, 1995. pp. 249–285.

20. Wess Mitchell A. *The Grand Strategy of the Hapsburg Empire*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2018. 416 p.

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ США В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.

Под внешнеполитической стратегией подразумевается совокупность планов и действий правительства страны на международной арене, направленных на достижение результатов наиболее оптимальным путем. Стратегия предполагает «анализ и планирование использования имеющихся ресурсов для достижения цели» [Howard 1983: 86]. При этом под «ресурсами» понимаются не только материальные, но и нематериальные факторы, в первую очередь традиции и ценности. Они формируются на достаточно длительный срок с целью решить проблемы, стоящие перед страной. Их влияние и действие чаще всего не ограничиваются сроком нахождения у власти одной администрации, они формируют определенную политическую преемственность, разрыв с которой всегда связан с кризисом, вызван им, либо к нему ведет. Хотя термин «стратегия» и происходит от греческого слова, означающего «искусство полководца», но стратегия не подразумевает исключительно ориентацию на военную

силу, а видит в ней лишь один из способов достижения поставленной цели.

Отцы-основатели стремились защитить Республику от «пороков» европейской системы, отстоять ее исключительность, отказавшись от участия в мировой политике. Колониальный опыт привел к пониманию того, что Америка может стать ареной противостояния между европейскими державами. В своем прощальном обращении к нации 17 сентября 1796 г. Джордж Вашингтон заявил, что было бы неразумным «впутывать себя посредством искусственных связей в обычные хитросплетения этой (европейской) политики или в обычные комбинации и коллизии, проистекающие из внутриевропейских дружественных или враждебных отношений. Наша отъединенность и пребывание в отдалении требуют от нас и позволяют нам следовать иным курсом» [Киссинджер 1997: 23]. Хотя принципы Вашингтона не могли полностью сгладить все разногласия по внешнеполитическим вопросам, но именно им суждено было стать основой для дальнейшей внешнеполитической стратегии США на следующие 120 лет. Стоит отметить, что в Послании Дж. Вашингтон связал национальный интерес США и особые свойства американской нации: являясь добродетельными и трудолюбивыми, граждане США готовы вести торговлю и заключать честные сделки со всем миром. Вместе с тем они не готовы участвовать в европейских политических интригах.

Провозглашенная в президентском послании 1823 г. доктрина Монро стала первым системным изложением принципов поведения США на международной арене:

1. Америка не должна быть объектом колонизации;
2. Европейские страны не должны осуществлять интервенции в Латинскую Америку (этот принцип был выдвинут в связи с возможной попыткой подавления антииспанского движения силами Священного Союза).

Таким образом, первыми стратегическими установками американской республики стали следующие принципы: стремление отделить свою судьбу от Европы, противопоставление себя европейским государствам исходя из моральных категорий, осознание и подчеркивание как хрупкости самого эксперимента с возникновением США, так и чувство избранности. В зависимости от ситуации, данные тезисы могли служить как изоляционистской, так и интервенционистской политике

В 1845 г. публицист Джон О'Салливан опубликовал статью под названием «Аннексия». Введенное им в оборот понятие «явного предназначения» и выдвинутая одновременно доктрина президента Полка стали базой для политики континентализма, предполагавшей расширение США на Юг и на Запад. «Прощальное обращение Вашингтона», доктрина Монро и доктрина «явного предназначения» легли в основу американской стратегии XIX в.: приверженность демократии, противопоставление европейской системе, экспансия не колониального, но континентального типа, неучастие в союзах, доминирование в зоне доктрины Монро, равные возможности в торговле и свобода морей. Одно то, что США за сто лет смогли пройти путь от небольшого союза 13 штатов до континентального государства, фактически используя тот понятийный аппарат и стратегии, которые сложились в первые десятилетия существования страны, привело к определенной сакрализации этих концепций, стремлению решать любую внешнеполитическую задачу в их рамках и сопротивлению любым попыткам пересмотреть или выйти за их пределы.

После окончания Гражданской войны в Соединенных Штатах начался период бурного промышленного роста. К 1890 г. США сравнялись по объему производимой продукции с крупнейшей индустриальной державой мира Великобританией, однако по численности американская армия уступала даже армиям ряда Балканских государств [Finnegan 1974: 7, 10]. Столь очевидное несоответствие эко-

номического и политического потенциала не могло тянуться слишком долго. С окончанием континентальной экспансии и в условиях продолжающегося экономического роста перед истеблишментом США встал вопрос о выработке новой внешнеполитической стратегии.

Одним из возможных вариантов было продолжение политики экспансионизма. Америка виделась уже не как страна, задача которой состояла в том, чтобы сохранить изоляцию в Западном полушарии, но как держава, претендующая на мировое лидерство и исходящая из необходимости создания своей зоны влияния, где она была бы гегемоном.

Экспансионистская часть истеблишмента призывала к войне с Великобританией и созданию единой державы от Ледовитого океана до Рио-Гранде. США, как указывал государственный секретарь Ричард Олни (1895—1897), фактически являются сувереном в регионе, и их воля является законом, поскольку нет державы, способной бросить им вызов на американском континенте. А будущий президент Т. Рузвельт писал о необходимости аннексии Канады [Bartlett 1963: 119—122].

Серия соглашений позволила США перейти на новый уровень взаимоотношений с Великобританией, что в дальнейшем привело к идее тесного взаимодействия двух стран и заложило основу политики «особых отношений», продолжающейся до сих пор.

С середины 1880-х гг. в околополитических и университетских кругах возникают концепции, требующие активизации политики США как одной из ключевых стран в мире. Профессор Пол Рейнш писал, что США, превратившись в индустриального гиганта, больше не могут жить в изоляции, им потребуется выход на зарубежные рынки [Романов 2005: 342]. Другой представитель академических кругов, экономист Чарльз Конант, считал, что экспансия может спасти экономическую систему от перенакопления и связанных с ним кризисов [Stromberg 2006].

Важную роль сыграла и теория «фронтира» Фредерика Джексона Тернера. В своей работе «Фронтир в американской истории» Тернер выдвинул идею, что окончательное освоение Запада стало переломным моментом в развитии Америки. Следующим шагом должно стать возрастание участия США в международной политике и начало экспансии [Тёрнер 2009].

Труды идеолога интернационалистского направления, одного из основателей геостратегии А. Т. Мэхэна, и действия его единомышленников в политических кругах, таких как Г. К. Лодж и Т. Рузвельт, разрушали традиционную для США изоляционистскую внешнюю политику. В книге «Влияние морской силы на историю» Мэхэн доказывал, что США должны превратиться в великую морскую державу, и это станет залогом дальнейшего роста влияния и престижа страны [Мэхэн 2002]. Взгляды Т. Рузвельта, по словам Г. Киссинджера, являлись американской вариацией европейской идеи равновесия сил и национальных интересов. Рузвельт отрицал идеи эффективности международного права, не поддерживаемого реальной силой государства.

Реализацией этих принципов стало появление в 1895 г. «дополнения Олни к доктрине Монро», аннексия Гавайских островов, испано-американская война 1898 г., установление контроля над Кубой и протектората над Филиппинами. США стали рассматривать себя как страну, вошедшую в число великих держав, участвующих в решении мировых проблем [Schulzinger 1998: 16—19].

Интернационалистские тенденции, формировавшиеся с конца 1880-х гг., получили свое развитие в первом десятилетии XX в. При правлении Теодора Рузвельта были созданы структуры военного и дипломатического планирования. Америка уже претендовала на ведущую роль в международной политике. Инициатива созыва 2-й Гаагской конференции, посредничество в Русско-японской войне и ряд других

внешнеполитических шагов показали: США вошли в число великих держав.

Можно выделить три дополняющих друг друга основных направления в внешнеполитической стратегии республиканских администраций начала XX в. Во-первых, это политика национального интереса, или, как ее еще можно обозначить, консервативного интернационализма, близкого к идеям политического реализма. Основной упор делался на понятиях национальной мощи и зон контроля. Консервативные интернационалисты во многом продолжали традицию расширительной трактовки доктрины Монро и «явного предназначения». Во-вторых, это принцип «открытых дверей», выраженный в одноименной доктрине. Данная стратегия продолжала развивать сформулированные еще в первой половине XIX в. идеи о важности свободы торговли и связанной с этим свободы морей. В первую очередь, доктрина «открытых дверей» должна была защищать принципы равной и справедливой торговли в Азии, особенно в Китае. Третьей интернационалистской концепцией была идея создания системы международного права. Этот подход основывался на представлении о необходимости упорядочивания и систематизации международных отношений. Создание международных институтов, таких как арбитраж, международный суд и других, должно было снизить анархизм в системе международных отношений и ослабить напряженность между державами, возросшую перед I Мировой войной. При этом предполагалось, что наличие сильного флота сделает более веским голос США в защиту создаваемых институтов международного права. В целом, по мнению американского истеблишмента, создаваемая международная правовая система должна была в большой степени основываться на американских традициях и ценностях, что, наряду с экономической и военной мощью, позволило бы США закрепиться в качестве одной из ведущих держав мира. При этом можно видеть, что все три направления не

разрывали, но переосмысливали традиционные принципы внешней политики США.

Наряду с экспансионистской стратегией, существовало направление, нацеленное на сохранение традиционного для США изоляционизма. Его сторонники выступали против экспансии и увеличения силового элемента во внешней политике. Они считали, что экспансионизм противоречит самой сути США, превращает их в колониальную империю и разрушает традицию, идущую со времен основания Америки. Созданная в 1898 г. Антитимпериалистическая Лига, включавшая в себя сторонников классического либерализма, сосредоточилась на критике оккупации Филиппин и пропаганде идеалов невмешательства [Stromberg 2006]. Лига подчеркивала, что милитаризм и экспансионизм пагубно отражаются на внутренней политике страны и несет в себе угрозу демократии в США. Впоследствии Лига растворилась в Демократической партии США. Кандидат от демократов на выборах 1900 г. У. Дж. Брайан активно использовал тезис, что империализм враждебен американским принципам, и обвинял Республиканскую партию в том, что она полностью приняла на вооружение «европейскую идею» об империалистической экспансии [Харц 1993: 271].

Но по-настоящему революционной для США стала стратегия либерального интернационализма, предложившая создание универсальной международной организации по поддержанию системы коллективной безопасности и принцип самоопределения наций. Два этих важнейших принципа лежали в основании Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, ставшей первой по-настоящему глобальной моделью миропорядка. Ведущим представителем либерального интернационализма начала XX в. являлся 28-й президент США Америки Томас Вудро Вильсон. Его влияние на становление данной концепции столь велико, что часто либеральный интернационализм обозначается именно как

«вильсонизм». И если в 1912 и даже в 1915 г. внешнеполитическая стратегия Вильсона не предполагала ничего большего, чем создание арбитражной системы, посредничество между блоками держав и распространение американских ценностей в мире, то к 1917 г. на фоне затянувшегося кризиса I Мировой войны и революции в России у Вильсона появилась возможность полностью перестроить систему международных отношений.

Вильсон подчеркивал морализм как основу, на которой эта система должна строиться. Ярко выраженная акцентировка на моральных аспектах политики, проблема демократизации и глобальные устремления явились основой формирования таких основополагающих программ либерального интернационализма, как «14 пунктов», и выстраивания всей концепции послевоенного мира. Принцип исключительности Америки, на протяжении XIX в. обосновывающий ее самоизоляцию, теперь должен был послужить ее вовлечению в мировые дела. А беспристрастность и нейтралитет, декларируемые США, означали не отказ от вовлечения в европейский конфликт, а, напротив, деятельное участие в его разрешении с позиции арбитра.

С точки зрения либеральных интернационалистов, кризис системы международных отношений и причины мировой войны лежали в империализме европейских держав. Следовало выработать новую дипломатию, которая должна основываться на тех же принципах, что и отношения между индивидами, а их нарушения будут рассматриваться как преступление, затрагивающее интересы всех стран. Итогом усилий по созданию «новой дипломатии» должна стать ассоциация наций, поддерживающая всеобщий мир. Вильсон видел в событиях мировой войны подтверждение своих воззрений, в соответствии с которыми всем государствам нужно перейти к демократии, а Америке следовало бы всячески способствовать этому процессу.

22 января 1917 г. Вильсоном были сформулированы принципы мирного соглашения между державами, а фактически стратегия формирования послевоенного устройства с позиций концепции либерального интернационализма. Только мир, заключенный равноправными сторонами, позволит установить стабильный миропорядок [Link 1982: 161]. Он должен будет основываться на праве наций на самоопределение, защиту от вторжений и внешнего влияния. Вильсон соотносил государственный режим с внешней политикой. Мир возможен лишь в условиях, когда правительства получают власть с согласия управляемых, только народ обладает всей полнотой суверенитета.

Программа «14 пунктов», в которой эти идеи получают развитие, стала символом стратегии либерального интернационализма. Национальное самоопределение и идея международной организации становятся основой мирной программы Вудро Вильсона [Link 1982: 177]. Они должны были перестроить систему международных отношений в соответствии с американскими принципами, а следовательно, сделать возможным установление доминирующей роли США в мире.

В начале XX в. идея национального самоопределения, присутствуя в дискурсе либерального национализма, формулировалась скорее в культурном, нежели политическом контексте. Но в ходе Первой мировой войны, начавшейся во многом из-за национального вопроса, а также поражения и распада многонациональных империй, вопрос о национальном самоопределении стал одним из ключевых в выработке концепции послевоенного миропорядка. Лишь с принятием этого принципа новая международная система станет стабильной.

Провозглашение права народов на суверенитет и понимание того, что национальное самоопределение связано с международной безопасностью, привели к тому, что с 1917 г. и до наших дней эти принципы фактически стали частью внешнеполитической стратегии США.

При этом данное право не рассматривалось американским президентом как универсальное. Так, говоря о многонациональных державах, Вильсон допускает возможность самоопределения входящих в них народов, но использует термин «автономное развитие». Кроме того, президент проигнорировал политически неудобные проблемы Ирландии и Индии.

Вильсон стремился к созданию такой системы международных отношений, где действия великих держав контролировались бы общественным мнением и морально-этическими нормами, что приводило к необходимости демократизации политики. Мировая политика должна подчиняться и регулироваться рядом правил, носящих обязательный характер. Должен быть создан наднациональный орган арбитража, способствующий разрешению споров и предотвращающий конфликты. Новая система международных отношений будет строиться на принципе универсальности и коллективной безопасности. Подобная система, с точки зрения либеральных интернационалистов, отражает именно американские идеалы, которые являются принципами всякого развитого общества и должны одержать победу в мировой политике. Таким образом, Вильсон не отказывается от традиционных американских внешнеполитических концепций, но придает им глобальный масштаб. Моралистический подход во внешнеполитической стратегии Вильсона был тесно связан с принципом зависимости внешней политики от типа политического режима и, как следствие, представлением о демократии, как о наиболее совершенной форме правления, обеспечивающей доверие во взаимоотношениях между государствами. С демократией связан и другой, основополагающий для Вудро Вильсона, принцип права наций на самоопределение. Его реализация должна уничтожить одну из основных причин возникновения международных конфликтов.

Первоначально являясь развитием идеи международной арбитражной системы, Лига Наций с ходом мировой войны

стала играть все большую роль во внешнеполитической стратегии администрации Вильсона. Вместе с тем создание Лиги Наций порождало два противоречия, не решаемых без отказа от традиционных стратегических парадигм внешней политики США. Во-первых, сохранение «доктрины Монро» в ее традиционном понимании означало бы выделение из Лиги, стремящейся к универсальности, особой зоны американских интересов, что соотносилось скорее с политикой раздела мира на сферы влияния. Во-вторых, предложенная модель коллективной безопасности вступала в противоречие с конституционными принципами и внешнеполитическими традициями США.

С середины 1915 г. начинается широкая дискуссия о выборе стратегии США по отношению к мирному урегулированию и своей роли в послевоенном мире. Странники президента Вильсона выступали за проведение политических и социальных реформ в рамках всего мирового сообщества.

Позиция сторонников консервативного интернационализма, как их характеризует Т. Нок, относительно послевоенного устройства мира заключалась в том, что США должны обеспечить себе лидерство путем укрепления военной мощи и создания военных альянсов, для защиты национальных интересов США [Кноск 1992: 273—275]. Любые соглашения и членства в международных организациях могут быть лишь дополнением к национальной мощи, сами же по себе они неэффективны. Вместе с тем данный лагерь вовсе не стремился к возвращению к изоляционистской политике, считая ее как вредной, так и уже невозможной. Консервативные изоляционисты не отказываются от восстановления справедливости и поддержания порядка там, где это представляется возможным, но считают, что ответственность за послевоенный мир должна носить не универсалистский, а зональный характер, что поможет избежать столкновения интересов великих держав. Целостность союза США и Антанты более важная задача,

чем воплощение в жизнь абстрактных, трудноосуществимых и опасных идей, подобных деколонизации, свободе морей и разоружению. По сути, сторонники данной стратегии продолжают придерживаться идеи расширительной трактовки «доктрины Монро» и участия США в некоем «директорате» великих держав с зональной, а не универсальной ответственностью [Roosevelt 1921: 294].

Другая группа противников Вильсона не была готова согласиться на участие США в международной организации вне зависимости от поправок и оговорок. Традиционно их именуют изоляционистами. Но представляется, что их позиция в большей степени соответствует тому, что У. Р. Мид называет «джексонианством» [Mead 1999]. Во внешней политике джексонианцы готовы бороться за величие и свободу США, верят в уникальность американской нации, но отнюдь не стремятся распространить американские ценности, либерализм и демократию во внешнем мире, и в то же время джексонианцы готовы в полной мере отстаивать национальные интересы США. Они готовы сражаться против конкретных угроз, но не за абстрактную идею. Поэтому не следует связывать мощь США какими-либо международными институтами и нормами международного права. К джексонианцам принято относить как деятелей, тяготеющих к унилатерализму, таких как, например, С. Пэйлин, так и классических изоляционистов, подобных сенатору А. Ванденбергу и идеологу палеоконсерватизма Дж. Бьюкенену. Наконец, близок к «джексонианцам» по своим взглядам и бывший президент Д. Трамп.

С их точки зрения США не следует брать на себя обязательства перед мировым сообществом. Интернационализм для них был сравним с большевизмом по масштабу угрозы, которую он несет американским ценностям [Johnson 1936: 153, 225, 254, 190].

Однако они не могли предложить никакой альтернативной стратегии переустройства послевоенного мира. Их пред-

ложения подразумевали возвращение США в состояние отстраненности от европейских дел, то есть к традиции XIX века. Подобная позиция не учитывала всех изменений, произошедших с США после испано-американской войны, их возросшей экономической и политической значимости, неизбежности интернационализации их внешней политики.

В ходе дебатов по вопросу ратификации мирного договора и вступления США в Лигу Наций оппоненты Вильсона представили в Сенате три варианта договора: без изменений, с оговорками, и вариант, предполагающий внесение поправок в текст договора. Сенат остановился на варианте, предполагавшем внесение оговорок, самые важные из которых касались сохранения доктрины Монро и решающей роли Конгресса в участии США в выполнении гарантий, даваемых статьей X Устава Лиги Наций, а также в управлении подмандатными территориями. Эти вопросы носили для Вильсона принципиальный характер. Вопреки советам, президент отказался идти на компромисс.

19 марта 1920 г. в Сенате США состоялось повторное решающее голосование по ратификации Версальского мирного договора. Для ратификации договора требовалось одобрение двух третей Сената — 56 сенаторов. Договор поддержало 49 сенаторов, против высказалось 35. Среди голосовавших «против» оказались не только изоляционисты, но и сторонники Вудро Вильсона, не готовые принять договор с существующими оговорками.

Таким образом, альтернативные либеральному интернационализму стратегии не смогли представить столь же масштабного, учитывавшего бы возросшую роль США в мире подхода к созданию новой системы международных отношений. В то же время критика ими внутренних противоречий и непоследовательностей отдельных элементов концепции либерального интернационализма и жесткая позиция Вильсона привели к отказу от ратификации договора и Устава Лиги Наций в Сенате.

Рост экономических возможностей и политических амбиций в конце XIX в. в условиях прекращения континентальной экспансии с неизбежностью привел к необходимости формулировки новой внешнеполитической стратегии: Америка виделась уже не как страна, задача которой состояла в том, чтобы сохранить изоляцию в Западном полушарии, но как держава, претендующая на мировое лидерство и исходящая из необходимости создания своей зоны влияния, где она была бы гегемоном. Интернационалистские тенденции, формировавшиеся с конца 1880-х гг., получили свое развитие в первом десятилетии XX в. Во-первых, это концепция консервативного интернационализма, опирающаяся на понятия силы, национального интереса и зон контроля. Во-вторых, это принцип «открытых дверей», выраженный в одноименной доктрине.

Решающую же роль в выходе США из состояния изоляционизма сыграла стратегия либерального интернационализма, предложившая создание универсальной международной организации по поддержанию системы коллективной безопасности и принцип самоопределения наций.

Важную роль в обосновании данной стратегии играла моралистическая установка и чуткость к общественному мнению, которые должны были стать значимым фактором в международных отношениях: принципы индивидуальной этики переносились и на межгосударственные отношения. Либеральный интернационализм всегда демонстрировал тенденцию связывать политический режим с проблемами внешней политики и безопасности.

Можно отметить, что стратегия либерального интернационализма Вильсона не была безальтернативной среди американских предложений по формированию послевоенного миропорядка. В годы Первой мировой войны в США возник целый ряд дополняющих ее и оппонировавших ей подходов. Эти альтернативные стратегии формировались в самых разных, а порой и враждебных друг другу политических

лагерях: у консерваторов и либералов, интернационалистов и изоляционистов, пацифистов, реалистов и джексо尼亚нцев. Их объединяло неприятие (хотя и в разной степени) вильсоновского проекта. Причины этого неприятия были разнообразны: некоторые видели в концепции либерального изоляционизма излишний утопизм, в то время как другие группы видели в Версальском договоре и Уставе Лиги Наций торжество цинизма, защиту принципов «карфагенского мира» и предательство основополагающих принципов американской внешней политики.

Все эти подходы сближало то, что они, по сути, явились реакцией на вильсонизм. Формирование альтернативных либеральному интернационализму стратегий носило негативный характер, во многом выстраиваясь на критике вильсонизма.

Именно стратегия либерального интернационализма стала основой первой, пусть и недолговечной, глобальной мировой системы, во многом определявшей направление для дальнейшего развития международных отношений. Практически все американские администрации после Первой мировой войны находились под влиянием вильсоновской стратегии либерального интернационализма, а XX век вошел в историю Америки как век вильсонизма [Perlmutter 1997].

Литература

1. Киссинджер Г. Дипломатия. М.: Ладомир, 1997. 847 с.
2. Мэхэн А. Т. Влияние морской силы на историю. 1660—1783. М.: АСТ, 2002. 634 с.
3. Романов В. В. В поисках нового миропорядка: внешнеполитическая мысль США (1913—1921). Тамбов: Изд-во ТГУ, 2005. 504 с.
4. Тёрнер Ф. Дж. Фронтир в американской истории. М.: Весь мир, 2009. 304 с.
5. Харц Л. Либеральная традиция в Америке. М.: Прогресс, 1993. 400 с.

6. Bartlett R. Policy and Power: Two Centuries of American Foreign Relations. NY.: Hill and Wang, 1963. 303 p.
7. Finnegan J. P. Against the Specter of a Dragon: The Campaign for American Military Preparedness, 1914—1917. CT.: Greenwood Press, 1974. 268 p.
8. Howard M. The Causes of War. London: Counterpoint, 1984. 291 p.
9. Johnson C. O. Borah of Idaho. NY.: Longmans, 1936. 548 p.
10. Knock T. J. To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order. NY.: Oxford University Press, 1992. XVI, 381 p.
11. Link A. Woodrow Wilson and the Progressive Era. 1910—1917. NY: Harper and Row, 1954. XII, 331 p.
12. Mead W. R. The Jacksonian Tradition // The National Interest №58 (Winter 1999—2000). P. 5—29.
13. Perlmutter A. Making the World Safe for Democracy: A Century of Wilsonianism and Its Totalitarian Challengers. NC.: University of North Carolina Press. 1997. XVI, 194 p.
14. Roosevelt in the Kansas City Star. War Time Editorials. Houghton Mifflin Co. 1921. 360 p.
15. Schulzinger R. D. U.S. Diplomacy since 1900. NY.: Oxford University Press, 1998. 448 p.
16. Stromberg J. Imperialism, Noninterventionism, and Revolution: Opponents of the Modern American Empire // The Independent Review. Vol. 11. Issue 1. 2006. P. 79—113.

ГЛАВА 3. КИБЕРКОНФЛИКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННЫХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЯХ

Мета-нарратив «глобализации» полностью утратил оптимистическую коннотацию. По крайней мере можно говорить о финализации проекта «Глобализация 1.0», связанного с распространением либеральных экономических институтов, западных норм и ценностей либерализма. Отрицать ускорившиеся с началом кризиса 2020-х гг. процессы деглобализации уже невозможно. Поиски оснований для посткризисного мироустройства, начавшиеся задолго до начала кризиса 2020-х годов, отодвинуты на второй план более актуальными вопросами: как выжить и сохранить свою государственность и идентичность в переломную эпоху. Если в начале XXI столетия многие эксперты сходились на том, что политика национальных государств окончательно превратилась в механизм обслуживания их экономических интересов, то

во втором десятилетии политические интересы, прежде всего приоритеты национальной безопасности (экзистенциальные интересы), продемонстрировали свое преимущество перед экономическими как факторы, определяющие международное поведение мировых держав. Малый кризис 2008—2009 гг. можно считать предвестником начавшегося кризиса, когда была упущена историческая возможность выйти на новый уровень глобального управления в относительно благоприятной геополитической обстановке. Сегодня мир переживает начало обострения глобальной военно-политической конкуренции между мировыми державами, одним из логически предсказуемых вариантов которой станет формирование нескольких региональных военно-политических блоков с подконтрольными им экономическими зонами. Некоторые американские аналитики, тесно связанные с Министерством обороны США, настаивают на еще более жестких определениях изменяющейся картины мира как «великого системного конфликта» и ставят мир перед дилеммой «выживания или невыживания демократии, как предпочтительной альтернативы режиму во всем мире» [Demchak 2021: 51]. В финализации американоцентристского проекта глобального управления позиция России оказалась определяющей, несмотря на убежденность американских аналитиков в недостаточной самостоятельности российской внешнеполитической стратегии [Russian Strategic Intentions... 2019].

Давно ли с подачи сенатора Маккейна Россию называли «страной-бензоколонкой», сегодня в международном политическом дискурсе ее признают как одну из великих мировых держав наряду с США и Китаем. Россия де-факто закрепила свой статус, поставив перед США (НАТО) вопрос о новой архитектуре европейской, а по сути мировой системы безопасности. Открытая позиция России не встретила понимания. Демонстрация Россией независимой внешней политики была воспринята как подрыв авторитета США в качестве «миро-

вого лидера» и вызвала провоцирование Украины на войну с Россией, что привело к резкому обострению ситуации в Европе. Этот исторический «момент истины» является важным уроком для политического анализа, прежде всего в плане необходимости ревизии методологического инструментария политической науки с позиции политического реализма, что позволяет в происходящих событиях «прочитывать» реальные намерения сторон, а за декларативными стратегиями видеть реальные долгосрочные политические стратегии и их эволюцию.

В данном разделе мы подвергнем анализу эволюцию стратегий «кибербезопасности» (Cybersecurity) и «киберсдерживания» (Cyberdeterrence), как относительно недавних, но уже ставших неотъемлемыми, компонентов современных внешнеполитических стратегий мировых держав, а также раскроем политическое значение повышенного внимания экспертно-аналитического сообщества разработке концептов «киберконфликта» и «информационной войны» в формировании современных политических стратегий. Следует отметить, что концепции «кибербезопасности» и «киберсдерживания» представляют собой в последние годы наиболее динамично изменяющиеся части долгосрочных стратегий, на примере которых можно изучать как взаимную адаптацию, так и корректировку противостоящих стратегий значимых «игроков» на международной арене.

Вторая декада XXI века прошла под рефреном, что «проекция силы» в современном мире не сводится к вооружениям. Тем не менее, в подходах к выстраиванию системы международной безопасности все более заметным становился крен в сторону поиска «баланса сил» в противоположность поиску «баланса интересов». Нарастание конфликтной напряженности в мире потребовало формирования политических стратегий с учетом новых «киберрисков» и угроз «гибридного» характера, порождаемых конфликтами так называемой «низкой

интенсивности» (*low intensity conflict*). В политических конфликтах в сфере международных отношений (IR) все более заметная роль в качестве инструментов воздействия на «оппонентов» (противников) отводится «киберугрозам» и «киберконфликтам», которые западными аналитиками стали определяться как новые средства «проецирования власти» [Pawlak, Tikk, Kerttunen 2020: 1]. При этом единства в понимании, что есть «киберконфликт», у них нет. Для одних он имеет прежде всего стратегическое политическое измерение: «это конфликт между государствами в киберпространстве, когда противники регулярно нарушают суверенитет, используя принудительные действия» [Lewis 2021: 2]. Синонимом «киберконфликта» в данном значении выступает «кибервойна», или «киберборьба» (*Cyber Warfare*) [Clarke, Knake 2010]. Некоторые аналитики США через «киберконфликт» склонны характеризовать «весь спектр старых и новых форм конфликтов, порожденных, поддерживаемых или кардинально измененных киберпространством» [Dombrowski, Demchak 2014: 73]. Ожидается, что все будущие военные столкновения будут вестись с использованием кибероружия [Iftimie 2020: 1].

Существуют попытки создания особой «теории киберконфликта» (*Cyber Conflict Theory*) [Brantly 2020], в том числе на основе «теории игр» и «торговой модели войны» (*Bargaining model of war*) [Castro 2021]. Томас Шеллинг был одним из первых, кто предложил формализованную модель конфликтов как переговорных ситуаций. Интерес к ним вернулся в 1990-х годах. Политолог из Стэнфордского университета Джеймс Фирон привлек внимание к «модели торга». Его статья 1995 года «Рационалистические объяснения войны» вошла в топ популярных статей журналов по международным отношениям в университетах США. Однако следует иметь в виду, что «теория киберконфликта» работает не с реальными конфликтами, а с моделями конфликтов, так называ-

емыми «рациональными конфликтами», представляющими собой «игровые ситуации», разыгрываемые сторонами в ходе «позиционного торга» (переговоров). Исходя из этого, ограниченность данных моделей достаточно очевидна. Рационалистическая модель «киберконфликта» успешно могла быть применена в качестве инструмента рационального управления конфликтами в киберпространстве, если бы проблема «асимметрии информации» принципиально решалась.

В российском научном дискурсе «киберконфликт» редко используется. Аналогом его выступает понятие «информационный конфликт». При этом в широком смысле оно включает как программно-логический, так и информационно-психологический аспекты. В узком смысле, наиболее близком, на наш взгляд, к специальному понятию «киберконфликта» как процесса осуществления киберопераций против компьютеризированных систем противника, выступает одно из понятий «информационного конфликта» как «процесса антагонистического взаимодействия организационно-технических систем в условиях военного конфликта, связанного с нарушением доступности, целостности и конфиденциальности информации» [Макаренко, Михайлов 2016: 99]. Данную формулировку можно взять за основу для нашего определения «киберконфликта», если не ограничивать условия его использования военным конфликтом и рассматривать в более широком спектре применения.

Терминологическая неопределенность усиливается различиями в подходах к формулированию стратегий информационной и кибербезопасности. Как указывает С. А. Себекин, «если в США информационная безопасность выступает частью стратегии кибербезопасности, то в России, наоборот, технологические аспекты безопасности являются частью информационной безопасности» [Себекин 2021:7]. Одновременно с этим в западных публикациях существует тенденция определять «киберконфликты» как формы ведения

«информационной» [Blank 2017] или «когнитивной войны», расширяя их спектр до «киберидеологического конфликта» (cyber ideological conflict) [Flynn 2021:87]. Исходя из того, что киберпространство стало «новым политическим пространством виртуального типа» [Кардава 2018: 153], в котором, тем не менее, сталкиваются реальные интересы различных политических субъектов, одни авторы пытаются раскрыть политическую природу «киберконфликта» [Pawlak, Tikk, Kerttunen 2020]; [Smith 2017], другие развивают идеи Дж. Аркилла и Д. Ронфельдта о том, что информационная революция изменяет саму природу политических конфликтов в результате возросшего влияния сетевых форм политической организации [Kavanagh 2021]; [Karatzogianni 2006]. Джон Аркилла [Arquilla, Ronfeldt 1993: 144, 145] один из первых указал на потенциальную возможность использования Интернета в борьбе с так называемыми «авторитарными», читай суверенными государствами, поскольку к этой категории сегодня может быть причислено любое государство, ведущее независимую внешнюю и внутреннюю политику.

Итак, несмотря на тесную связь и взаимное пересечение понятий «информационного» и «киберконфликта», не следует ставить между ними знак равенства, прежде всего в технологическом и программно-логическом смысле. «Киберконфликты», происходящие между государствами, решают специфические задачи, которые не сводимы полностью к информационно-коммуникационному воздействию. В парадигме перехода современной войны к стратегиям непрямых и асимметричных действий, от силовых способов к несиловым (или к их комбинации), «информационные конфликты» и «киберконфликты» получают самостоятельное значение, в том числе как средства «допорогового» уровня сдерживания.

Согласно современной американской стратегической мысли, традиционная политика сдерживания на основе сочетания инструментов наказания («deterrence by punishment») и запре-

щения («deterrence by denial») оказалась неэффективной в условиях так называемой долгосрочной «стратегической конкуренции великих держав» (great-power competition). В полной мере этот вывод отнесен и к предшествующей стратегии «киберсдерживания» США (в версии 2015 г.). Дело в том, что необходимым условием для эффективного осуществления сдерживания эскалации в любом конфликте обязательным граничным условием является наличие четко зафиксированных и обозначенных порогов допустимого ущерба, превышение которых позволяет предпринять пропорциональные ответные меры («симметричный ответ»). Для «киберконфликтов» установление подобных границ проблематично. В случае с «киберсдерживанием» данная формула подходит только для тех кибератак, которые достигают или превышают определенный порог допустимого ущерба, только после этого возможно их квалифицировать как акт агрессии. Однако подавляющее большинство кибератак осуществляется в «подпороговом» режиме, относятся к классу так называемых «атак низкой интенсивности», не достигающих уровня вооруженного конфликта. Тем не менее, кибератаки против компьютеризированных систем, управляющих экономическими и техническими процессами, объектами критической инфраструктуры государств могут быть столь же опасными, как и кинетические атаки, имеющие чисто физический характер, и могут привести к авариям на ядерных объектах, веерным отключениям электроэнергии или финансовым кризисам. Подобные кибератаки также могут вестись незаметно и в течение длительного периода времени, так что оценка пороговых уровней для них возможна лишь постфактум. Кроме того, кибератаки могут выступать компонентами «гибридных угроз», в сочетании с другими видами оружия и наступательных технологий, включая информационно-коммуникационные, что еще более усложняет оценку угроз.

Еще одна нерешенная проблема, препятствующая эффективной стратегии «киберсдерживания», по мысли западных аналитиков, связана с так называемой «дилеммой безопасности» в применении к киберпространству. В общем смысле «дилемма безопасности» [Herz 1950] описывает ситуацию, когда действия одних государств на повышение собственной безопасности вызывают опасения контрагентов и поиск компенсирующих мер или противодействие с их стороны, провоцирующее рост конфликтности. Индивидуалистические стратегии в условиях «дефицита доверия», как показывает данная «дилемма», не способны привести к устойчивому решению проблемы безопасности ни для одной из сторон. Особенно высоки потенциальные риски в ситуации балансирования на грани войны. Неустойчивость подталкивает контрагентов к нанесению так называемого «упреждающего удара». Таким образом, в условиях неопределенности выбор между сотрудничеством и соперничеством приводит к выбору «худшего сценария» [Jervis 1978: 160]. Лишь в ситуации «взаимного гарантированного уничтожения» (ВГУ) при угрозе ядерного конфликта «дилемма безопасности» трансформируется в классическую prisoner's dilemma, которая принуждает стороны к кооперативным стратегиям во избежание фатального исхода. Исследователи признают, что «дилемма безопасности» в киберпространстве не имеет подобных оснований для сдерживания. Влиятельные в данной области исследования аналитики Бен Бьюканан [Buchanan 2017] и Мартин Либики [Libicki 2016] сходятся на том, что практикуемые в киберпространстве инструменты сдерживания в основном сводятся к доведению до сведения другой стороны «сигнала» или «описания границы» и последствий ее нарушения, не более того. При этом атакуемая сторона должна «просигнализировать» о своей воле и способности ответить на агрессивные действия, не выдавая слишком много информации о том, как она это сделает, чтобы агрессор не

смог заранее подготовиться. Иными словами, так называемые «кибервозможности» сильно зависят от сохранения информационной асимметрии и эффекта неожиданности. Для обозначения качественно иной ситуации для киберпространства даже введен термин «цифровая дилемма безопасности», специфика которой определяется существенной асимметрией оборонительного и наступательного потенциалов кибероружия. Наступательные кибероперации демонстрируют более высокую эффективность, нежели оборонительные, что стимулирует приоритетную разработку первых, усиливая асимметрию. Под наступательными кибероперациями подразумеваются «скоординированные действия, при которых данные противника, используемые для связи между физическими (аппаратными), логическими (программными) и /или социальными (цифровыми персональными) системами, нарушаются с целью достижения определенного военного эффекта» [Iftimie 2020: 1]. Указанная асимметрия в отсутствие фатальных ограничений также создает искушение использовать кибератаки в качестве «первого удара».

Дополнительным фактором выступает асимметрия зависимости «сильных» государств от «слабых» в общем для всех киберпространстве. Развитые государства в большей степени зависят от стабильной работы ИКТ-инфраструктуры, которая по большей части находится в собственности бизнеса (более 90 %) [Finnemore 2019: 8]. Это стимулирует «слабых» усилиться за счет киберугроз, при этом не имея фатальной зависимости от обрушения общей для всех ИКТ-инфраструктуры. Асимметрия «зависимости» акторов в киберпространстве не дает возможности для наращивания взаимного доверия и, соответственно, для формирования основы кооперативного взаимодействия на основе баланса интересов. «Сильные» не доверяют «слабым», поскольку у тех мала зависимость от фатального исхода, «слабые» в свою очередь не доверяют «сильным», поскольку те опираются на сдерживание путем угроз.

Аналитики напоминают, что, сосредотачиваясь на кибер- и информационных операциях между государствами, не следует упускать из внимания рост гражданских конфликтов, в которых «многочисленные субъекты используют цифровые технологии для срыва или задержки урегулирования конфликтов» [Kavanagh 2021: 1–5]. Платформы «социальных сетей» (social media platforms) являются легко доступными для коммуникации и пропаганды всеми сторонами гражданских конфликтов. Возможности доступа к инструментам и услугам для киберопераций для таких участников неуклонно расширяются. Это еще более усиливает асимметрию киберпространства в качестве зоны конфликтного взаимодействия, о чем предупреждал и Джон Аркилла, отмечая, что «деструктивные силы малых групп и даже отдельных людей в физическом мире, а также в киберпространстве, продолжают расти»¹. Понимание этих проблем представителями средств массовой информации и лицами, участвующими в миротворческих усилиях, имеет решающее значение для информационного сопровождения стратегий взаимодействия по урегулированию.

Итак, асимметричный характер киберпространства в отношении киберконфликтов и их «асимметричная природа» определяются особенностями киберпространства. Главной его особенностью, в отличие от «физических» сред, которые сегментированы национальными границами, является высокая взаимосвязанность участников разного уровня и статуса и невозможность выделить отдельные зоны для гражданского сектора и для ведения военных киберопераций. Второй важной особенностью, определяющей понимание «кибервойн будущего», является то, что контрагенты, обладающие относительно небольшой мощностью, посредством кибератак могут

¹ John Arquilla, 2013. “Beware the Few”. *Foreign Policy*, April 16. URL: <http://foreignpolicy.com/2013/04/16/beware-the-few>.

оказывать значимое воздействие на более могущественных противников [Martins 2017: 98, 102].

С учетом этих особенностей международная система кибербезопасности очевидно должна строиться на принципе гарантий безопасности для всех, на основе многосторонних договоренностей между представителями всего международного сообщества при участии негосударственных субъектов, в особенности компаний, специализирующихся на инфраструктурных и программных решениях в сфере ИКТ. Система подразумевает технические решения проблем безопасности и общепринятые международные нормы как элементы сдерживания конфликтности в информационном пространстве. Данный подход релевантен Российской доктрине информационной безопасности¹. Россия настаивает на заключении юридически обязывающих международных договоров об ограничении военного использования, или иного неприемлемого поведения в киберпространстве. Следует отметить, что мирная политика в киберпространстве может быть успешной лишь в рамках общей политики в соответствии с принципом безопасности для всех во всех средах. Локально эта проблема не решается. Однако США (НАТО), продвигая идею «добровольного и необязывающего характера норм ответственного поведения», в действительности нацелены на превращение киберинформационного пространства в пятую (после земли, моря, воздуха и космоса) «оперативную область» военных действий (о чем откровенно было заявлено на саммите НАТО в Варшаве, 2016 г.).

Впервые о том, что мир снова вступил в «эпоху стратегической конкуренции», было заявлено в «Стратегии национальной безопасности США» (Д. Трампа) 2017 г. Констатировалось,

¹ Указ Президента Российской Федерации № 646 от 5 декабря 2016 г. «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074.

что, будучи феноменом XX в., «конкуренция великих держав вернулась». В качестве доминирующего подхода США к «сохранению мира» была акцентирована «проекция силы», в том числе за счет расширения присутствия в глобальном киберпространстве. Чтобы избежать двусмысленности в понимании, подчеркивалось, что, в отличие от своих соперников, которые «не склонны действовать в бинарной логике силового противостояния», США привержены «политическому реализму» в отношениях, в которых одна из сторон неизбежно находится в подчиненном положении. Тем самым была обнародована логика, в которой США определяют свою «парадигму реализма». В действительности, политическую реальность они видят через призму «игры с нулевой суммой», где чей-то выигрыш возможен лишь за счет чьего-то проигрыша. Пересмотр приоритетов национальной политики в сторону наступательного силового подхода подтвердила и «Национальная киберстратегия США» 2018 г., в которой подчеркивалось, что с целью обеспечения превосходства в киберпространстве «США предусмотрят использование возможностей киберпространства по всем направлениям реализации власти», в том числе дипломатические, информационные, финансовые, разведывательные методы, публичные возможности и правоохранительные органы, военные меры воздействия включая действия в киберпространстве и применение кинетических вооружений¹. В заявлении советника по национальной безопасности Джона Болтона было разъяснено, что акцент делается на расширении возможностей проактивных действий против стратегических соперников и иных враждебных акторов в киберпространстве. Заявлено, что Интернет — американское изобретение, поэтому должен, в первую очередь, продвигать интересы и ценности

¹ National Cyber Strategy of the United States of America. September 2018. P. 20–21.

США, а также активно формировать будущее как таковое. Военные аналитики США констатировали, что «киберпространство открыло новые возможности для конфликтов, но одновременно с этим усложнило существующую тактику и стало оказывать все большее влияние на стратегические расчеты крупных держав» [Dombrowski, Demchak 2014: 73].

В настоящее время США применяет комбинированную концепцию сдерживания / принуждения (strategies of deterrence and coercion). Основные ее положения отражены в исследовании РЭНД «Наука стратегии: теория сдерживания и принуждения: теории сдерживания, принуждения и модернизации»¹ и в национальной киберстратегии США 2018 г.

Суть принятой на вооружение в 2018 г. киберстратегии США заключается в достижении принудительного эффекта, а не в оборонительных действиях. Преемственность с данной стратегией сохраняется и при действующей администрации. Отличительной характеристикой «новой киберстратегии» является реализация принципа «упреждающей защиты» (defend forward), обоснованного в концепции, представленной в «Отчете комиссии по киберпространству “Солярий”»². Согласно данному принципу, предполагается осуществление упреждающих кибератак против потенциальных противников, не достигающих уровня ущерба, сравнимого с вооруженным конфликтом, с целью навязать им дополнительные стратегические затраты и в то же время подтвердить свое стратегическое превосходство. Военные эксперты США убеждены, что эффективное сдерживание в киберпространстве может быть

¹ Klinger, Janeen. (2019). The Science of Strategy: Deterrence and Coercion Theory: Deterrence, Coercion, and Modernization Theories. URL: <https://www.researchgate.net/publication/330952855>.

² The United States of America Cyberspace Solarium Commission: Legislative Proposals [Electronic resource] / U. S. Cyberspace Solarium Commission. Washington, DC, 2020. Mode of access: <https://www.solarium.gov/report>.

упреждающим только в режиме «постоянной вовлеченности» (*persistent contact*), или «*persistent engagement*») [Fischerkeller, Harknett 2018]. Соединение подходов «упреждающей защиты» и «постоянной вовлеченности» подразумевает проведение упреждающих кибератак в сетях противника на постоянной основе и, в случае необходимости, выведение их из строя.

Свидетельством продолжения принятого курса может служить опубликованное в январе 2021 года «Руководство для новой администрации Байдена: Белая книга Комиссии по киберпространству “Солярий” № 5»¹, представляющее собою пакет рекомендаций по обеспечению кибербезопасности США, где подтверждается приверженность концепции упреждающей защиты посредством стратегии постоянной вовлеченности. Однако признается, что стратегия превентивного предотвращения кибератак еще до их осуществления должна быть доработана, как в плане обеспечения адекватной оценки рисков и выгод, так и в плане предоставления полномочий для быстрого принятия решений на осуществление наступательных киберопераций. Согласно рекомендациям, изложенным в отчете «Солярий» и указанном «Руководстве», предлагалось перейти к концепции многоуровневого киберсдерживания («*layered cyber deterrence*»), которая включает три подхода к обеспечению кибербезопасности: продвижение международных норм поведения в киберпространстве (*share behavior*); лишение противника возможных выгод (*deny benefits*); наложение издержек (*impose costs*).

Собственно, постоянная вовлеченность и киберсдерживание, основанное на наказании, включены в подход «наложение издержек» как взаимодополняющие стратегии: киберсдерживание для предотвращения угроз, которые можно квалифицировать

¹ Cyberspace Solarium Commission White Paper #5: Transition Book for the Incoming Biden Administration [Electronic resource] / U. S. Cyberspace Solarium Commission. Washington, DC, 2021. URL: <https://www.solarium.gov/public-communications/transition-book>.

как акт агрессии, постоянная вовлеченность для противодействия киберугрозам ниже порогового уровня. При этом упреждающая защита, по мысли аналитиков, не ограничивается применением киберсредств, а «включает упреждающее и комплексное использование всех инструментов власти»¹. Таким образом, многоуровневое киберсдерживание остается открытым для включения в свой набор других инструментов по мере милитаризации новых технологий.

Приверженность данному подходу подтверждена и «Временными указаниями по стратегии национальной безопасности» от 3 марта 2021 г.² В документе продвигается идея высокотехнологичной гонки вооружений, где, как считают авторы, у США есть преимущества. Подчеркивается роль технологий, в особенности так называемых ««эмерджентных технологий», при формировании долгосрочной стратегии противостояния Китаю. При этом признается, что стратегическая конкуренция не должна препятствовать сотрудничеству с Китаем в тех вопросах, которые отвечают интересам США. Заявлено о намерении формировать единый фронт союзников и партнеров для политического, экономического, технологического и военного давления на КНР. Впервые в американском официальном документе высшего уровня использовано понятие «серая зона», в которой предполагалось разворачивание основного противоборства США, прежде всего с Китаем и Россией. Подтверждены намерения по расширению фактора сдерживания за счет возможностей кибероружия в «гибридной войне». Последнее можно рассматривать как готовность к осуществлению кибератак по предполагаемым источникам угроз даже при отсутствии достоверных данных, по известной формуле «хайли лайкли». При этом важно, подчеркивают

¹ The United States of America Cyberspace Solarium Commission, 2020. P. 24–25.

² Interim National Security Strategic Guidance. 2021. URL:<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf>

американские аналитики, достигать стратегического эффекта без пересечения «ядерного порога», которое оправдало бы симметричный ответ противника [Lewis 2021: 4]. Обращает на себя внимание высокая идеологизированность документа с позиции «либерального глобализма».

Итак, концептуальные и институциональные изменения в политике кибербезопасности США демонстрируют проактивный характер и направлены на то, чтобы предоставить им большую свободу действий в киберпространстве с целью достижения стратегического превосходства. Однако доставшаяся в наследство стратегия киберсдерживания с осторожностью применяется современной администрацией именно в плане превентивной защиты (Defend Forward), поскольку высокая зависимость США от стабильного функционирования ИКТ-инфраструктуры делает их чрезвычайно уязвимыми для ответных асимметричных кибератак. Поэтому ими предполагается использовать комплексную стратегию сдерживания с комбинированием возможностей различных областей киберпространства и реального «офлайн-мира» (так называемое «широкое», или «межсекторальное» сдерживание (broad deterrence, cross-domain deterrence)). Одновременно с этим США отказались взаимодействовать с инициатором альтернативной концепции информационной безопасности¹ (Россией) и строят систему коллективной безопасности только с союзниками по НАТО, и против России. В сложившихся условиях Россия вынуждена была в свою очередь перейти к политике контрсдерживания².

¹ Имеется в виду принятая ООН Конвенция информационной безопасности (см.: Доклад Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций № А/70/162 от 7 ноября 2015 г. «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности»).

² Сергей Рябков. Россия в отношениях с США должна перейти к политике сдерживания и избирательного диалога. *Интерфакс*. 23.12.2020. Доступ: <https://www.interfax.ru/interview/742593>; Пресс-конференция замглавы МИД РФ Александра Грушко по итогам переговоров Россия

Из анализа эволюции концепции «кибербезопасности» США можно сделать вывод, что стратегия «киберсдерживания» представляет собой одну из важнейших составляющих расширенного сдерживания, в том числе в так называемой «серой зоне» международного права. «Серая» зона характеризует промежуточное состояние отношений между миром и войной. Иными словами, предполагается, что «сдерживание» может обеспечиваться не только военными средствами. Операции в «серой зоне» позволяют государствам жестко конкурировать, находясь ниже порога конвенциональной войны. Его инструментами могут выступать разного рода угрозы от экономических санкций до действий в киберсфере, информационном пространстве и космосе и другие меры «до порога применения вооруженных средств». Осознавая военный потенциал противостоящих держав, США (НАТО) делают ставки на разработку и внедрение методов нетрадиционной войны, входящих в арсенал так называемого «расширенного сдерживания». Акцент при этом смещается в сторону комплексного (многокомпонентного, или «гибридного») применения политических, экономических, информационных и других невоенных мер, включая кибероперации. Западные аналитики прогнозируют, что «ближайшие два десятилетия НАТО будет искать новые способы интеграции «кибероружия» (наступательных кибернетических возможностей) в свои операции и миссии» [Reding, Eaton 2020: 57].

Таким образом, стратегия конфликтных действий в «серой зоне» представляет собой версию стратегии принудительного «сдерживания», построенную на технологиях «гибридной» войны. Стратегия «серой зоны» предусматривает, прежде всего, активные действия по формированию в административно-политической, финансово-экономической и культурно-

НАТО 12.01.2022. *Ruspolitnews.ru*. Доступ: <https://ruspolitnews.ru/press-konferenciya-zamglavy-mid-rf-aleksandra-grushko-po-itogam-peregovorov-rossiya-nato-12-01-2022.html>

мировоззренческой сферах государства-мишени нужного состояния в целях его дестабилизации и разрушения. Военные операции также не исключаются.

Понятие «сдерживание» в 1946 году ввел американский дипломат Джордж Кеннан для характеристики американской политики в отношении СССР в послевоенном мире. В его трактовке термин «сдерживание» (containment) предполагал гибкий подход к отношениям с СССР. Однако с самого начала в официальную стратегию США оно вошло как «сдерживание путем угрозы» (устрашение). В трактовке советской дипломатии «сдерживание» напрямую определялось не иначе как «политика удушения». Реализуя в отношении России стратегию принудительного сдерживания в «серой зоне», США с середины 20-х гг. текущего столетия приступили к активному созданию «объединенного единым замыслом комплекса “серых зон” непосредственно у границ и в других районах ее национальных интересов» [Бартош 2021: 11]. Смысл данной стратегии раскрыт в докладе РЭНД «Напрягая Россию. Конкурируя с выгодной позиции»¹. Идея в том, чтобы увеличением числа и интенсивности конфликтов в проблемных зонах стратегических интересов на периферии России вынудить ее к запредельной трате ресурсов.

Внимание США к противоборству в «серой зоне» российские эксперты связывают с тем, что у подавляющей части американского политического класса присутствует понимание особой опасности для самих Соединенных Штатов прямого военного столкновения с Россией и Китаем, значительно нарастившими свою военную мощь. При этом у многих аме-

¹ Extending Russia. Competing from Advantageous Ground. by James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams. RAND Corporation, 2019. 354 p. DOI: <https://doi.org/10.7249/RR3063>; Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the impact of costimposing options // RAND Corporation. 2019. № RB-10014-A. URL: <https://doi.org/10.7249/RB10014>

риканских политиков (и военных) присутствует понимание того, что эскалация насилия в противостоянии США с РФ и КНР может носить непредсказуемый характер, чреватый катастрофическим для всех ядерным конфликтом [Сimbala 1999]. Поэтому предлагается подменить ставку на «ядерное сдерживание» многокомпонентной стратегией для «серой зоны».

«Конкуренция в серой зоне» характеризуется более интенсивным политическим, экономическим, информационным и военным соперничеством нежели принято в классической дипломатии, но не переступающим порога войны. В военной терминологии НАТО обозначается как DIME-конфликты, в которых задействуется дипломатия, информация, вооруженные силы и экономика. «Гибридные» технологии использовались США, Польшей, Литвой, Украиной и другими странами (членами НАТО) в операциях, связанных с попыткой свержения власти в Белоруссии. Весь арсенал многокомпонентной стратегии в полной мере применен для провоцирования военного конфликта между Россией и Украиной. Трактовка со стороны США принципа «каждая страна имеет суверенное право выбирать собственный путь» как права обеспечивать свою безопасность любыми способами, в том числе вступая в военные блоки, угрожающие безопасности других государств, обострила «дилемму безопасности» в отношениях Россия — НАТО до ситуации балансирования на грани глобальной войны. Сложилась парадоксальная ситуация начавшейся, но как бы не объявленной войны.

Достаточно подвижной концептуальной рамкой для анализа политических процессов в современных условиях может служить понятие «нетрадиционной», или «неконвенциональной войны» (Unconventional War), разрабатываемое для понимания «новых войн» в современную «информационную эпоху». Разработчики концепции «новых войн»

[Калдор 2015] подчеркивают, что изменился сам характер войны. Войны больше не начинаются с формальных заявлений или вооруженных действий. Конфликт крупных держав сегодня в основном невоенный. Мари Калдор так определяет «постклаузевицевский» характер современных войн: «новые войны — это, как правило, обоюдные предприятия, а не борьба волею. Заинтересованность воюющих сторон в предприятии войны, а не в том, чтобы победить или проиграть, имеет как политические, так и экономические основания. Внутренняя тенденция подобных войн — это война без окончания, а не война без пределов. Войны, определяемые подобным образом, создают общую самоподдерживающуюся заинтересованность в войне, воспроизводящей политическую идентичность и способствующей осуществлению экономических интересов» [Калдор 2015: 408]. Подразумевается, что для осуществления «предприятия войны» обе стороны нуждаются друг в друге, и тогда война тяготеет к затяжному течению без решительного результата. На этом фоне важно понять, что «постсовременные» конфликты и «войны» становятся не только средствами достижения стратегических целей (policy), но и инструментами управления внутривнутриполитической жизнью (politics). Если для Клаузевица целью войны была внешнеполитическая стратегия, а политическая мобилизация ее средством, то в новых войнах наоборот. Цель войны — мобилизация вокруг политического нарратива, а внешнеполитическая стратегия или политика перед лицом объявленного врага — это ее оправдание. И здесь одной из важнейших проблем становится склонность «слабеющих держав» увязывать внешнеполитические стратегии с внутренней политикой и внешней «проекцией силы» как фактором влияния. Однако далеко не все государства в мире готовы «играть» в «постклаузевицевские» войны.

Одной из основополагающих работ в данной области следует считать «Оружие и влияние» Томаса Шеллинга [Schelling 1966], в которой были представлены методы трансформации

угроз военной силой в политическое влияние, оказываемое на вероятного противника. Однако с той поры разработка инструментов политического влияния ушла далеко вперед в область средств несилового принуждения. В качестве средств влияния рассматриваются не столько военная угроза и вооружения, сколько информационно-психологические и иные технологии принуждения. Акцент в исследованиях политического влияния делается не на тактико-технических характеристиках вооружений, а на «человеческом измерении» войны.

За первенство в определении доминирующих характеристик этой «неконвенциональной войны» конкурирует целый ряд наименований от уже знакомых «политической», «экономической» и «информационной войны» (Information War) до более специфичных модификаций «кибервойна» (Cyberwar), или «цифровая война» (Digital War), «сетевая война» (Network Centric Warfare), «когнитивная война» (Cognitive Warfare), «поведенческая война», «иррегулярная война» и, наконец, комбинированная «гибридная война» (Hybrid warfare), включающая в себя как отдельные комбинации военных (силовых) и невоенных технологий, так и весь технологический набор «новых войн». Для разработки средств влияния, указывают военные исследователи, необходимо наладить сотрудничество между учеными в области психологии, социологии и антропологии для изучения воздействия новых сетевых средств на человеческое поведение и лидерство [Groh 2008]. Несмотря на разнообразие наименований, представляется, что по большей части речь идет о разных «ликах» информационной войны, определяемых в зависимости от того, какой ее аспект рассматривается. Даже в случае «экономической войны» ожидаемый эффект от нее определяется не экономическими расчетами, а степенью влияния на сознание и поведение людей в нужном направлении. В противном случае, исходя из понимания высокой экономи-

ческой взаимозависимости государств и того эмпирического факта, что любые экономические санкции в современном мире представляют собой «обоюдоострое оружие», многие из них не предпринимались бы. Можно утверждать, что все современные конфликты и «войны» сегодня разворачиваются, что называется, «он-лайн», или непосредственно «на глазах мирового сообщества» и, в качестве неотъемлемой своей компоненты, включают «информационную войну». Как подчеркнуто в одном из недавних отчетов RAND Corporation: «Информационная арена становится все более важным полем битвы, где восприятие успеха может быть определяющим»¹. Так или иначе весь спектр технологий «неконвенциональной войны» связан с воздействием на массовое сознание с целью изменения поведения людей.

Тем не менее, следует уточнить различия между «киберконфликтами» («кибервойнами») и «информационными войнами» (IW) с точки зрения их непосредственной целевой направленности. Объектом первых выступает инструментальный контроль над киберпространством. Объектом и целью IW выступает контроль над сознанием и волей людей. С точки зрения непосредственного эффекта от информационно-коммуникативного воздействия ожидается соответствующая эмоциональная реакция, которая должна быть закреплена в психологическом плане. В социально-политическом аспекте «информационная война» — это, прежде всего, борьба за нарративы, формирующие общественное мнение и сознание. IW разворачивается в открытой для массовых пользователей части киберпространства Интернет. «Кибервойна» — это уже компьютерное противостояние в киберпространстве (включая и открытую сеть Интернет) за так называемые «наступательные кибернетические возможности» (offensive cyber

¹ Modern Political Warfare: Current Practices and Possible Responses. Linda Robinson, Todd C. Helmus, Raphael S. Cohen, Alireza Nader, Andrew Radin, Madeline Magnuson, Katya Migacheva. RAND, 2018.

capabilities), с целью лишить противников свободы маневра в киберпространстве. Здесь речь идет о системах аналогичных A2/AD (Anti-Access/Area Denial), используемых НАТО, «отказывающие в праве доступа или закрывающие доступ». Однако в киберпространстве A2/AD достигается не за счет оборонительных, а за счет наступательных киберопераций [Iftimie 2020: 2]. Таким образом, наименование «кибервойна» прежде всего означает возросшие технические возможности, как для современной «информационной войны», так и для вооруженных конфликтов и не отражает всех аспектов IW. С другой стороны, как отмечено выше, целями кибератак могут являться не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура. При развертывании широкомасштабной «кибервойны» целями кибератак становятся управляемые компьютерами инженерные системы в критических для национальной безопасности областях, а в более широкий набор целей попадают как отдельные персоналии и группы, так и государственные институты, бизнес-организации и в пределах общества в целом. Отсюда важно подчеркнуть: даже если изначально киберконфликты носят специфический характер и направленность, они могут иметь широкие социально-психологические, экономические, политические последствия и привести к эскалации межгосударственных конфликтов.

Другой «лик» IW «когнитивная война» раскрывает понимание стратегической цели современной «информационной войны» как борьбы за доминирующее влияние на сознание человека. С позиции современной военной доктрины НАТО человек становится «главной уязвимостью». Человеческий разум позиционируется как «спорная область» и «новое боевое пространство». В исследовании RAND 2020 года, спонсируемом НАТО, по вопросу о целях этих новых форм ведения IW поясняется: «В то время как действия, предпринимаемые в пяти областях, выполняются для того, чтобы оказать влияние на сферу человека, цель когнитивной войны состоит в том,

чтобы сделать оружием каждого» [François du Cluzel 2020]. Для этого нужно изменить образ мышления человека. Это не только борьба с тем, что люди думают, но и с тем, как они мыслят. А конечная цель состоит в том, чтобы изменить образ того, как они действуют (модели поведения). Таким образом, «когнитивная война» сопряжена с так называемой «поведенческой войной», применяющей техники, разрабатываемые на стыке Big Data, «когнитивных вычислений» и междисциплинарного комплекса поведенческих наук, манипулирование привычками, стереотипами и алгоритмами поведения людей. Для такого комплексного воздействия требуются объединенные усилия и милитаризация (the Weaponisation) всех естественных, социальных и гуманитарных наук, считают аналитики НАТО, особенно «наук о мозге» (brain sciences) [François du Cluzel 2020]. В российском дискурсе синонимом Cognitive Warfare выступает «ментальная война». Последняя определяется как «новый тип межгосударственного противоборства, цель которой заключается в уничтожении самосознания, изменении ментальной, цивилизационной основы общества противника» [Ильницкий 2021].

На основе рассмотрения эволюции стратегий «кибербезопасности» и «киберсдерживания» и связанных с ними концептов «киберконфликта» и «информационной войны» представляется возможным понять логику трансформации стратегий и инструментов политического влияния.

Появившееся с начала века разнообразие концепций и инструментов ненасильственного «гуманитарного» воздействия для достижения стратегических целей во внешней политике одно из проявлений воздействия глобализации на геополитику в целях глобального управления. Высокая взаимосвязанность мировых процессов в условиях достижения физического предела для развития кинетических средств ведения войны привела к отказу от прямых, «жестких» стратегий, ведущих к глобальному столкновению ядерных держав, и заставила обратиться

к разработке средств так называемой «мягкой силы» (Soft Power). Если «жесткая сила» традиционно опирается на экономическую и военную мощь, то «мягкая сила» на культуру, идеологию, политические ценности и дипломатию. Стратегия «мягкой силы», впервые сформулированная как политологическая концепция в книге Дж. Ная «Призвание к лидерству: меняющаяся природа американской власти» [Nye 1991], выражала настроения в среде американского внешнеполитического истеблишмента на рубеже 1980–1990-х гг. В исходном варианте концепция отражала надежды на переход к более гибким моделям международной конкуренции, в которых американский образ жизни имел бы неоспоримую привлекательность, и несла на себе отпечаток убежденности в специфическом геополитическом положении США как «единственной сверхдержавы». «Мягкая сила» была призвана оказывать воздействие на сознание как населения, так и политической и экономической элиты других государств. При этом она изначально содержала в себе составляющую «жесткости», предусматривающую навязывание стандартов поведения и образа жизни. Другой вопрос, что объекты воздействия далеко не всегда способны отдавать себе отчет в том, что выбор, который они делают, не является в полной мере свободным выбором. Сформировались и альтернативные модели «мягкой силы», демонстрируемые, например, Россией или Китаем. Политика «мягкой силы» может способствовать углублению взаимопонимания между странами и их сближению. Ресурсами «мягкой силы» могут выступать культурно-ценностная привлекательность, экономическая модель развития, политическая система и т. д. Так что в ее использовании нет ничего предосудительного. Здесь уместно вспомнить теорию культурной гегемонии Антонио Грамши или более современную концепцию американского социолога Р. Коллинза о цивилизации как «зоне престижа» [Collins 2004]. Однако «мягкая сила» может трансформироваться и в формы принудительной зависимости.

Следующий шаг в направлении концептуального осмысления принудительной «мягкой силы» сделал тот же Дж. Най в работе «Гибкая власть: как добиться успеха в мировой политике» (2004 г.). Одновременно с ним С. Носсель опубликовала статью «Умная сила» [Nossel 2004]¹. С этого времени можно говорить о начале рефлексии стратегии «умной власти», результатом которой явился предложенный Дж. Наем концепт «кибервласти» [Nye 2010]. «Умная сила», по Наю, это способность сочетать «мягкую» и «жесткую» силу. Ключевыми моментами, объясняющими поворот США к принудительной внешней политике на новом концептуальном и технологическом уровне явились: 11 сентября и начало «всеобщей войны с международным терроризмом», оправдывающей политику «превентивных ударов»; достижение Интернетом критически значимого для глобального охвата уровня. Последнее привело к тому, что Интернет начал выполнять качественно новую социальную функцию и стал одним из основных ресурсов политической мобилизации так называемого «глобального гражданского общества» и масс инсайдеров в различных государствах.

Деструктивный потенциал «умной силы» на новом технологическом уровне проявился прежде всего в способности осуществлять «информационную войну» через глобальную сеть. По сути «умная сила» явила себя как информационное оружие, созданное для разрушения государственности стран-соперников, поддерживая в них протестные настроения и осуществляя управление процессами дезорганизации посредством «цифровой дипломатии», хакерских атак, организацией «флэшмобов» и «цветных революций». Стратегия

¹ Следует отметить, что схожую риторику гораздо раньше начали применять военные. В 1995 г. НАТО при формальном отсутствии резолюции СБ ООН провело воздушную военную операцию в Боснии и Герцеговине «Обдуманная сила» (Deliberate Force). Для данного случая «преднамеренная сила» имеет более точную коннотацию.

«умной силы» сопрягается с представлениями о переходе к эпохе «войн новой генерации» (NGW), или «войн шестого поколения», позволяющих якобы без захвата территорий разгромить бесконтактным способом военный и экономический потенциал любого государства на любом удалении от противника.

Таким образом, стратегия «умной силы» направлена на удержание доминирования и «сдерживание» конкурентов. В то же время ее нельзя назвать стратегией на завоевание лидерства, поскольку она отнюдь не повышает международную стабильность, а, напротив, интенсифицирует нарастание геополитических рисков. Либеральная риторика лишь маскирует реальную стратегию. Заявления руководства США о переходе к политике многосторонности на практике означает лишь стремление переложить часть своих рисков и издержек на другие государства. Государства, определяемые как «союзники», на деле используются как средства достижения целей в интересах удержания доминирования. Отсюда нарастание взаимного недоверия между государствами и противоречий между «союзниками», что обобщается интенсификацией средств манипулирования и информационно-психического воздействия уже против них. Важно понимать, что реальная стратегия сдерживания, в отличие от декларируемой, на деле означает сдерживание других стран в развитии.

На примере концептов «киберидеологического конфликта», «кибервойны» и других ее «ликов», разрабатываемых в русле подхода Soft Power, ясно видно, что они являются не более чем апгрейдом уже известных информационно-идеологических и психических средств ведения «информационной войны», но уже на новой технологической основе. При этом концепт «ядерной войны» отнюдь не устарел, но является слишком «жестким» для проецирования силы в области «мягких средств» влияния, достаточно быстро финализирует «торг»

с противником и не дает возможности развернуть более широкий спектр «асимметричных» угроз. Если в области «жесткой силы» (Hard Power) для контроля над вооружениями в целях взаимной безопасности возможна рациональная оценка рисков и поиск баланса между «выигрышем и потерями», то во второй области (Soft Power) данная процедура бессмысленна, поскольку ставится обратная задача: продуцирование мнимых рисков, создание ложных целей, отвлечение противника от реальных угроз. «Жупел» кибервойны, раздуваемый до масштабов, сравнимых с «ядерной угрозой», один из приемов «информационной войны», предназначенный для введения оппонентов в состояние «измененного сознания».

Безусловно, не следует недооценивать угрозы, создаваемые «киберконфликтами», но еще большая опасность, как нам представляется, возникает совсем с другой стороны, нежели реальный ущерб от кибератак: это «геймификация» киберпространства. «Геймификация» — процесс наделяния неигровых контекстов игровыми элементами. Как точно подмечено, «сегодня кибервойна определяется как лицами, принимающими решения в области национальной безопасности, аналитиками, так и Голливудом» [Raitasalo 2019]. Исследователи указывают на всеохватывающее влияние «геймификации» на сознание людей, а через него на политическое сознание [Frissen, Lammes, Lange, et al. 2015]. Современный политический конфликт, разворачиваясь в киберпространстве, приобретает черты «игры», как бы разыгрываемой по определенному сценарию. Виртуальное пространство снимает моральные барьеры, снижает порог ответственности, потому что все разыгрывают свои роли без серьезных намерений, как бы «понарошку». Но нужно отдавать себе отчет в том, что конфликт не возникает в киберпространстве сам по себе, исходя из некоторой искусственно созданной игровой ситуации. Он укоренен в конфликте между реальными государствами, является проекцией реального конфликта, в большей или меньшей степени искаженной вос-

приятием и игровыми конструктами. Уверенность в том, что такой «игровой» конфликт не представляет экзистенциальной угрозы, снимает правовые, моральные и даже естественные ограничения и повышает склонность «игроков» идти на риск, снижает их стимулы к переговорам. Сформированные игровые паттерны отключают правила осторожного поведения уже в реальной политике. Дальнейшая эволюция «умной силы» в этом «безумном» направлении приводит к чрезмерной виртуализации и геймификации мировой политики, размывает все основные принципы организации международной жизни. Термин «заигрались» все чаще применяется в оценках такой необдуманной политики.

Итак, анализ политических стратегий США показывает, что за обязательствами обеспечить стабильность и безопасность для «клуба принятых» стран скрывается последовательная реализация конфликтной модели удержания доминирования в мире. Именно в этом направлении эволюционируют декларируемые внешнеполитические стратегии США. Переход от конкурентной модели («соревнования двух систем») в период биполярного мира к более «мягким» моделям влияния и сдерживания в 1990-е и 2010-е гг. и наконец снова к «жесткой» конфликтной модели в 2020-е гг. не кажется парадоксальным, если учитывать начавшееся по одному из «хаотических» сценариев [Burrows 2019] движение мировой системы к формированию нового мирового порядка на основе многополярности. Конфликтная модель удержания доминирования и «сдерживания», так же как и конфликтная модель «перезагрузки мира», вполне объяснимы с точки зрения цивилизационной парадигмы США способы стратегического планирования и политической практики в условиях сползания в кризис. В рамках многокомпонентного сдерживания Запад будет продолжать использовать как «мягкую», так и «жесткую» силы. Последнее предусматривает использование региональных межгосударственных конфликтов в обмен на согласие одной из сторон на военно-политическое

сотрудничество. Это наиболее опасная сторона «политики сдерживания», так как чревата локальными войнами с риском перерастания в региональные войны.

Принципиальным в сложившихся условиях является вопрос о пересмотре, или мере преемственности внешнеполитической стратегии России и ее репрезентации противникам и возможным союзникам. Одни аналитики считают целесообразным придерживаться оформившейся за последние десять лет стратегии «разумной силы» [Чихарев, Столетов 2014: 65], направленной на конструктивное участие в системе коллективного глобального лидерства на переходе к многополярному миру. Однако, важно отметить, данная стратегия будет успешна, если система международных отношений вернется от силового балансирования к поиску баланса интересов. Другие аналитики, не отвергая многосценарный подход, высказываются за переход к опережающей стратегии в сочетании с тактическим умением давать неожиданные асимметричные ответы на возникающие угрозы. Согласно прогнозам некоторых отечественных исследователей, «Российская цивилизация после 2021 года вероятнее всего будет находиться в состоянии открытого военного конфликта с западной цивилизацией» [Стратегическое прогнозирование... 2016: 709]. Учитывая, что характер современной войны определяется эффективностью не только вооруженных, но и невооруженных сил и средств, важнейшей задачей для России становится форсированное развитие национального человеческого капитала и его институтов развития. В целях минимизации и максимальной локализации вероятного вооруженного конфликта с Западом России необходимо создать привлекательную модель международной и региональной безопасности, основанную на нравственных политических и социальных нормах в противовес существующей западной модели безопасности для «избранных». Если Россия еще не готова в силу недостаточности ресурсов влияния претендовать

на лидерство на международном уровне, то вполне способна демонстрировать требуемый образец ответственного лидерства.

В условиях коррозии международных институтов важно следовать международным нормам и представить миру свое видение новой модели международных отношений. Эта модель должна представлять альтернативный долгосрочный сценарий развития для всех наций в противовес сценарию «глобального военно-силового противоборства». Внятно сформулированная стратегия, альтернативная военным сценариям, будет обеспечивать России нравственные и политические преимущества в начавшейся информационной и сетецентрической войне.

Внешнеполитическая стратегия России должна состоять в поддержании объективной тенденции к развитию многополярности, содействии любому движению в этом направлении даже тогда, когда это не несет непосредственных экономических или других выгод российскому государству (коалиционная политика с участием России, поддержка различных самостоятельных незападных альянсов и т. п.). Наличие в мире независимых центров силы и субъектов международных отношений повышает возможности России в противостоянии с коллективным Западом. Важнейшим приоритетом национальной стратегии должна стать наука, иначе проигрыш в сетецентричной войне неизбежен [Стратегическое прогнозирование... 2016: 721]. В качестве стратегической поставлена задача инновационного развития и вхождение РФ в число мировых технологических лидеров.

Важным фактором, на который следует обращать внимание в анализе «парных» стратегий, является адекватность понимания противником заявленной противостоящей стратегии. Роберт Персон (Военная академия США, Вест-Пойнт) подчеркивает, что «разработка эффективного ответа на генеральную стратегию России требует четкого понимания, что представляет собой эта стратегия, а чем она не явля-

ется» [Person 2020]. Он последовательно отвергает «четыре мифа», воспроизводимые западным политическим мышлением в определении стратегических целей России, а именно: «большая стратегия России основана на идеологии»; «Россия стремится воссоздать Советский Союз или Российскую империю»; «Россия стремится восстановить прежний мировой порядок, в котором великие державы управляют остальным миром и координируют свои действия, чтобы гарантировать собственные национальные интересы» и, наконец, «у России нет большой стратегии», ее действия являются «оппортунистическими», адаптивно связанными со стратегиями более сильных «игроков». Указывая на преемственную связь долгосрочных политических стратегий, известных из истории Российского государства, Персон сделал предположение, что движущей мотивацией для всех предшествующих российских стратегий являлось «отсутствие безопасности». Отсюда постоянно воспроизводимое стремление обезопасить себя. Основы «великой стратегии» России скорее можно объяснить состоянием геополитической нестабильности, считает Персон, которая лежит в основе реалистической школы мысли, на что указывал еще Роберт Джервис [Jervis 1978]. С этим, пожалуй, можно согласиться, но этого недостаточно для ее понимания. «Скрытая сила» российской стратегии в правде и справедливости. Этого «измерения» западные аналитики увидеть и понять не хотят или не могут.

Литература

1. Бартош А. А. «Серые зоны» как ключевой элемент современного операционного пространства гибридной войны // Военная мысль. 2021. № 2. С. 6–20.
2. Ильницкий А. М. Ментальная война России [Электронный ресурс] // Военная мысль: военно-теоретический журнал. 2021. № 8. С. 19–33.

3. Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху / пер. с англ. А. Апполонова, М. Дондуковского; ред. перевода А. Смирнов, В. Софронов. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. 416 с.

4. Кардава Н. В. Киберпространство как новая политическая реальность: вызовы и ответы // История и современность. 2018. № 2. С. 152–166.

5. Картунов А. В. Кризис миропорядка и будущее глобализации: Доклад Российского совета по международным делам (РСМД). Доклад № 60/2020. М.: НП РСМД, 2020. 60с.

6. Макаренко С. И., Михайлов Р. Л. Информационные конфликты: анализ работ и методологии исследований // Системы управления, связи и безопасности. Systems of Control, Communication and Security. 2016. № 3. С. 95–178. URL: <https://sccs.intelgr.com/archive/2016-03/04-Makarenko.pdf> (дата обращения 17.01.2022).

7. Савельев А. Г. Стратегическая стабильность и ядерное сдерживание: уроки истории // Вестник Московского университета. Сер. 25: Международные отношения и мировая политика. 2015. № 3. С. 57–84.

8. Себекин С. А. Новая киберэпоха: как США вступают в глобальную конкуренцию в киберпространстве / Ред. Н. С. Дегтярёв. М.: ПИР-Пресс, 2021. 46 с.

9. Чихарев И. А., Столетов О. В. К вопросу разумного использования мягкой силы во внешней политике России // Геополитический журнал. 2014. № 4. С. 55–71.

10. Стратегическое прогнозирование международных отношений: кол. Монография. Под ред. А. И. Подберезкина, М. В. Александрова; [А. И. Подберезкин и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. М.: МГИМО-Университет, 2016. 743 с.

11. Arquilla and David Ronfeldt. “Cyberwar is Coming!” // Comparative Strategy. 1993. Vol. 12. No. 2 (Spring). P. 141–165.

12. Blank Stephen. Cyber War and Information War a la Russe // Understanding Cyber Conflict: 14 Analogies / George Perkovich, Ariel Levite. Georgetown University Press, 2017. P. 81–98.

13. Brantly Aaron F. *Beyond Hyperbole: The Evolving Subdiscipline of Cyber Conflict Studies* // *The Cyber Defense Review*. 2020. Vol. 5. No. 3. P. 99–120.

14. Buchanan Ben. *The Cybersecurity Dilemma: Hacking, Trust, and Fear Between Nations*. Oxford University Press, 2017. 304 p.

15. Burrows Mathew J. *The world in 2035: Three new scenarios. Ch.5 Global Risks 2035 Update: Decline or New Renaissance?* Published by: Atlantic Council, 2019. P. 54–72.

16. Castro Sergio. *Towards the Development of a Rationalist Cyber Conflict Theory* // *The Cyber Defense Review*. 2021. Vol. 6. No. 1. P. 35–62.

17. Cimbala Stephen J. *Accidental/Inadvertent Nuclear War and Information Warfare* // *Armed Forces & Society*. 1999. Vol. 25. No. 4 (Summer). P. 653–675.

18. Clarke Richard A., Robert Knake. *Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It*. HarperCollins, 2010. 304 p.

19. Collins R. *Civilizations as Zones of Prestige and Social Contact* // *Rethinking Civilizational Analysis* / Arjomand S. A., Tiryakian E. A. (eds.). Sage Publications, 2004. P. 132–147.

20. Demchak C. *Achieving Systemic Resilience in a Great Systems Conflict Era: Coalescing against Cyber, Pandemic, and Adversary Threats* // *The Cyber Defense Review*, Special edition: COVID-19 implications for Cyber. 2021. Vol. 6. No. 2. P. 51–70.

21. Dombrowski P., Demchak C. *Cyber war, cybered conflict, and the maritime domain* // *Naval War College Review*. 2014. Vol. 67. No. 2. P. 70–96.

22. Finnemore M. *Talking Past Each Other: Government, Business and Civil Society Discussing Cyber Security* // *Вестник МГИМО-Университета*. 2019. Т. 12. №5. С. 7–11.

23. Fischerkeller M. P., Harknett R. J. *Persistent Engagement and Tacit Bargaining: A Path Toward Constructing Norms in Cyberspace* [Electronic resource] / *Lawfare*. Washington, DC, 2018. Mode of access: <https://www.lawfareblog.com/persistent-engagement-and-tacit-bargaining-path-toward-constructing-norms-cyberspace>

24. Flynn M. *Winning the Digital War: Digital War Ideology and the Spectrum of Conflict* // *Journal of Strategic Security*. 2021. Vol. 14. No. 4. P. 87–102.

25. François du Cluzel. Cognitive Warfare [Electronic resource] // Innovation Hub. June Nov. 2020. Mode of access: innovationhub-act.org/sites/default/files/2021-01

26. Groh Jeffrey L. Network-centric warfare: leveraging the power of information // Theory of war and strategy. Vol. I. Ch. 21. Strategic Studies Institute, US Army War College, 2008. P. 323–338.

27. Frissen Valerie, Lammes Sybille, de Lange Michiel, de Mul Jos, Raessens Joost. Homo ludens 2.0: Play, media, and identity // Playful Identities: The Ludification of Digital Media Cultures, Amsterdam University Press, 2015. P. 9–50.

28. Iftimie Ion A. NATO's needed offensive cyber capabilities // NDC POLICY BRIEF (NATO Defense College). 2020. No. 10. P. 1–4.

29. Herz J. H. Idealist internationalism and the security dilemma // World politics. 1950. Vol. 2. No. 2. P. 157–180.

30. Jervis R. Cooperation under the Security Dilemma // World Politics. 1978. Vol. 30. No. 2. P. 167–214.

31. Karatzogianni A. The politics of cyberconflict. New York: Routledge, 2006. 242 p.

32. Kavanagh Camino. Digital technologies and civil conflicts: Insights for peacemakers // European Union Institute for Security Studies (EUISS). Conflict series. 2021. (Feb. 4).

33. Libicki M. C. Cyberspace in Peace and War. Naval Institute Press, 2016. 496 p.

34. Lewis James A. Toward a More Coercive Cyber Strategy: Remarks to U. S. Cyber Command Legal Conference, March 4, 2021. Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2021 (Mar. 1). P. 1–8.

35. Martins R. Anonymous' Cyberwar Against ISIS and the Asymmetrical Nature of Cyber Conflicts // The Cyber Defense Review. 2017. Vol. 2. No. 3 P. 95–106.

36. Nossel S. «Smart Power» // Foreign Affairs. 2004. Vol. 83. No. 2. P. 131–142.

37. Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1991. 336 p.

38. Nye J. S. Cyber power. Harvard Kennedy School. Belfer Center for Science and International Affairs. May, 2010. URL: <http://belfer-center.ksg.harvard.edu/files/cyber-power.pdf>.

39. Pawlak Patryk, Tikken Eneken, Kerttunen Mika. Cyber conflict uncoded: The EU and conflict prevention in cyberspace // European Union Institute for Security Studies (EUISS). Conflict series. 2020 (Apr. 1). P. 1–8.

40. Person Robert. Four Myths about Russian Grand Strategy // The Diversity of Russia's Military Power: Five Perspectives / Report Author(s): Heather A. Conley, Robert Person, Jim Golby, Gil Barn-dollar, Jade McGlynn and Joseph Robbins. Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2020.

41. Raitasalo Jyri. Cyber Deterrence: An Oxymoron For Years To Come // Global Security Review. 2019. Last updated Jun 7. P. 144–146.

42. Reding D. F. and J. Eaton. Science & technology trends 2020–2040 exploring the S&T edge. NATO Science & Technology Organization, Paris, 2020. 151 p.

43. Rid Thomas, Hecker Marc. War 2.0: Irregular Warfare in the Information Age. Praeger Security International, Westport, Connecticut, London, 2009. 280 p.

44. Russian Strategic Intentions. A Strategic Multilayer Assessment (SMA) White Paper. May 2019. 152 p.

45. Schelling Thomas C. Arms and Influence. New Haven: Yale University Press, 1966. Pp. viii, 293.

46. Smith Trevor Garrison. Conflict // Politicizing Digital Space: Theory, The Internet, and Renewing Democracy. University of Westminster Press, 2017. P. 99–122.

ГЛАВА 4. ЭКОПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ДИСКУРСИВНОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Введение. «Политические стратегии» представляют собой один из важнейших разделов политической науки, который характеризует политико-управленческие отношения в политических процессах. Политические процессы формируются в стихии неопределенности и протекают между Сциллой и Харибдой порядка и хаоса. В них реализуются политические стратегии основных участников процесса. Столкновение различных стратегий порождает дополнительное пространство неопределенности. Стратегии представляют собой системные формы деятельности, обусловленные долгосрочными целями. Особенностью политической деятельности, в отличие от управленческой, является то, что она не носит исключительно репродуктивного характера. Политическая деятельность всегда осуществляется в пространстве неопределенности и связана с решениями, в основе которых лежит неочевидный выбор. Другой особенностью политической деятельности, которую отметил еще М. Вебер, является то, что субъект связывает

с ней субъективно подразумеваемый смысл, и то, что она всегда соотнесена с деятельностью «других» [Вебер 1990: 602]. Эти особенности задают смысловое пространство между субъектом деятельности и другими участниками процесса, в котором формируются политические стратегии. «Другие» выступают также в качестве объекта деятельности, целью которой является трансформация их ориентаций и смыслов. Государство выступает в качестве ведущего субъекта разработки и реализации стратегий. Для этого оно использует свой институциональный потенциал в качестве инструмента для исполнения своих предписаний.

Существующие подходы к определению стратегии делают акценты на различных частях ее структуры. Поскольку стратегия включает в себя такие элементы, как миссия, видение, цели, задачи, ресурсы, инструменты, принятие решений, то выбор фокуса определений зависит от масштаба и прозрачности сферы, в которой формируются стратегии. Акценты могут делаться либо на пространстве целей, либо на пространстве принятия решений. Настоящая глава касается проблем политической экологии. Эта сфера для современной политики оказывается столь же фундаментальной, сколь и не прозрачной. Вследствие этого определение и содержание стратегий будет тяготеть к структуризации целевого пространства политической экологии. Стратегия в общем виде рассматривается как системное единство целей, намерений, программ и средств для их реализации.

Экология как политическая парадигма. Что представляют собой экологические проблемы для современного поколения? Прежде всего нужно отметить, что экология по своему значению не является только одной из тем современной политики наряду с другими. Ей отведена более значительная роль. Экология находится в центре политического процесса разрушения старой мировоззренческой картины мира и создания новой. Понятие политической парадигмы сопряжено с революци-

онным процессом смены одной картины мира на другую. Под парадигмой в строгом смысле слова понимают способ мышления, принятый в научном сообществе в определенную историческую эпоху. Политическая парадигма представляет собой способ мышления, вырастающий из основания, по которому человечество в конкретную эпоху делится на политические единства. Национально-экономическая парадигма, которая господствует в умах людей последние триста лет, представляет собой способ легитимации современных политических институтов: национального государства и экономического способа хозяйствования.

В конечном итоге тотальное воплощение ее принципов породило системный экологический кризис, в котором непомерная техногенная нагрузка, спровоцированная экономической конкуренцией враждующих наций, подрывает условия существования цивилизации. Определение границ существования всего человечества, выраженное в угрозах и рисках ядерной войны, климатической, техногенной катастроф, порождает потребность в политическом поведении и мышлении, существенно отличающихся от предыдущих образцов в политической истории. Человечество стоит перед необходимостью отказаться от принципов экономической экспансии и национального эгоизма. Сегодня все политические акторы признают наличие экологического кризиса и необходимость его преодоления. Экологический кризис угрожает существованию человечества и требует радикальной смены форм бытия: целей, ценностей программ, отношения к ресурсам. Множество теорий, объясняющих развитие человечества в связи с экологическим кризисом, можно объединить в две концепции. Первая концепция получила название ресурсной концепции. Истощение природных ресурсов связано с ростом населения и ростом экономики. Смысл экологического кризиса связан, прежде всего, с ограниченностью не возобновляемых ресурсов. Вторая, биосферная концепция, видит причины

экологического кризиса в том, что экстенсивное развитие человечества выходит за рамки стабилизационных связей биосферы. Человечество нарушило баланс биоты земли с другими организмами. Отсюда следует, что необходимо уменьшить нагрузку на естественную биоту, и она сама отрегулирует естественные параметры окружающей среды. Экологическая стратегия, в рамках первой концепции, может быть направлена: во-первых, на экономию не возобновляемых ресурсов; во-вторых, на снижение техногенной нагрузки на природу; в-третьих, на борьбу с загрязнением окружающей среды. В рамках второй концепции, экологические стратегии не очевидны, поскольку именно рост населения является в ней ключевым фактором. Новая картина мира скрыта за пеленой кризиса, но движение к ней неизбежно. Необходимы новые стратегии перехода к неизвестному новому миру. Проблема постановки новых целей и ценностей должна решаться в создании новых экологических концепций. Во второй половине XX века возникает новое направление политической науки: политическая экология.

Политическую экологию определяют как «исследование взаимозависимости и взаимосвязей между политическими единствами и их окружающей средой... касающихся политических последствий изменений окружающей среды» [Nempel 1996: 150]. Отношение человека и природы многообразно, и усугубление экологического кризиса подталкивает политические субъекты к выстраиванию экологических политик, реализующих стратегии его преодоления. Если первоначально в понятие экологической политики включалась лишь политика, направленная на охрану и оздоровление окружающей природной среды, рациональное использование и возобновление природных ресурсов, то в настоящее время в понятие «экологическая политика» включаются программы по системному преобразованию глобальной хозяйственной деятельности на принципах экологической достаточности

и развитию социосферы, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность и экологическую безопасность человека. Возникает потребность в осмыслении человеческого общества не как развития социально-экономических систем, а как общества экологического равновесия. Исходным механизмом такой политики выступает баланс интересов. Различные регионы мира обладают разными потенциалами в возможности сохранения природной среды. При этом современная цивилизация не демонстрирует способности к достижению сбалансированных отношений.

Под экологическим кризисом следует понимать такую ситуацию, при которой продолжение деятельности человечества, при неизменных ее параметрах, в ограниченно короткий срок приведет к уничтожению условий этой деятельности. Глобальная проблема экологического кризиса рассматривается с учетом многочисленных акторов, имеющих различные ресурсные, институциональные, коммуникационные возможности. Вместе с тем разнообразие экологических установок и позиций требует осмысления целостности формирующегося процесса.

Политическая экология представляет собой сферу знания, исследующую основания отношений между политическими субъектами по поводу экологического кризиса. Ее интерес фокусируется на «установлении политических сил, стоящих позади различных концепций “экологии” как представлений о биофизической действительности. В этом смысле “критической” политической экологией можно считать политику экологии как научную легитимацию экологической политики» [Forsyth 2009: 5]. В условиях кризиса необходимо системное осмысление противоречивых политик для нахождения оптимальных эколого-политических стратегий диалектического единства отношения человека и природы.

Экологические стратегии как системы реализации политических идеологий. Понимание природы экологического кризиса зависит от знания причин его возникновения.

Начиная с восемнадцатого века, человечество осознает себя на пути прогрессивного развития. Ценности и цели прогресса сформулированы в классических политических идеологиях. Экологический кризис, как и другие кризисы, часто понимается как некое отклонение или разрыв на этом пути. Идеологии в этом случае выступают в качестве терапевтического инструмента для удержания ориентации. Можно согласиться с определением идеологии Э. Шилса: «...идеологиями являются лишь такие системы ценностей, которые, выступая в качестве политического мировоззрения, имеющего силу веры, обладают особенно большим ориентационным потенциалом и потому способны обуздывать связанные с кризисом процессы социальной аномии» [Матц 1992: 130]. Определение содержания ключевой политической цели, неотделимо от разработки механизмов ее достижения в значимых направлениях государственной и общественной политики. Экополитические стратегии, направленные на преодоление экологического кризиса, формулируют свои цели и средства в горизонте целей, уже признанных в существующих развитых идеологиях. Экологический кризис должен быть преодолен при более последовательной реализации конструирующих идеологических систем ценностей. Особенностью экополитических стратегий является то, что средством их реализации должна стать трансформация субъекта этих стратегий. Правильное понимание природы человека может обеспечить выход человечества из кризиса.

Таким образом, теоретическая база экологических стратегий в начальный период формируется на основе классических традиционных идеологий как определенных программ их реализации. Д. Кларк выделяет несколько теоретических направлений, ориентирующихся на существующие идеологии [Clark 2012: 505–516].

Стратегии консервативного энвайронментализма. Консервативная политическая мысль во второй половине XX века

распадается на два варианта, один из которых — традиционный консерватизм — продолжает классическую традицию, а другой — либертарианство больше соотносится с современными реалиями.

Стратегии традиционалистского консервативного энвайронментализма. Традиционный консерватизм ориентируется на ценности, сформированные еще в политической философии Э. Берка. Системную целостность образуют религиозные, общественные и культурные ценности. Традиции воплощают идею органического, эволюционного развития. Они опираются на такие достоинства, как сдержанность, умеренность, благочестие. Ориентация на наследие прошлого органически сочетается защитой окружающей среды. Природные ресурсы являются наследием, требующим сбережения. Рынок является сферой справедливого обмена, в котором удовлетворяются потребности человека. Защита природы должна рассматриваться важным духовным наследием, поэтому экологическое законодательство, новые «зеленые» налоги поддерживаются как важные инструменты экологической стратегии. Важным моральным обязательством общества является формирование такой экономической политики, которая удовлетворяла бы существующие потребности, не уменьшая способность земли обеспечивать необходимым будущие поколения. Экологическая политика должна опираться на благоразумие, которое на сегодняшний день указывает на необходимость сокращения выбросов парниковых газов. Благочестие требует отношения к природе как к божественному дару. Вредное воздействие на природу должно влечь за собой ответственность и быть выражено в ценах. Консервативный принцип неприкосновенности собственности должен работать в окружающей среде. Загрязнение природы является вторжением в права собственности тех, жизни которых, здоровье или имущество повреждены и требует оплаты издержек и ущерба. С точки зрения Д. Р. Блиса, скептически относившегося к доминированию регулирующих решений государственной бюрократии

в экологии, строгое следование консервативным принципам в разработке экологической стратегии эффективнее защитит природу от вредного воздействия [Bliese 2002].

Стратегии консервативного либертарианского энвайронментализма. Либертарианство в системе ценностей опирается на веру в относительно нерегулируемый рынок, негативную свободу индивида и права человека. Государство предназначено для защиты жизни, свободы и прав собственности и сводится к институтам полиции, судебной власти и стабильной денежной структуры, в которой рынок может работать гладко. Проблемы экологического кризиса должны быть решены, прежде всего, рынком, а не в сфере государства. Эффективный рынок не может создать экологических проблем. Проблемы возникают из несоответствующего определения прав собственности или отсутствия таких прав по определенным природным ресурсам, которые, следовательно, не защищены. Права собственности являются наилучшим средством оптимального экологического принятия решений. Прогнозы серьезных проблем экологического кризиса неточны, потому что они не рассматривают способности людей приспособиться к дефицитам в определенных областях посредством создания новых технологий и повышения производительности. Такие ценности, как ответственность, мораль, государство, не эффективны в отношениях с природой. Собственники примут хорошие решения, если им позволят извлечь выгоду из их собственности и если ценовые механизмы не искажены посредством политического вмешательства. Защитники свободного рынка поддерживают идею считать загрязнителей юридически ответственными за последствия их действий [Anderson, Leal 2001]. Выход из экологического кризиса лежит на пути совершенствования института рынка и собственности. При этом консерваторы понимают под окружающей средой исключительно природные ресурсы.

Стратегии либерального энвайронментализма. Либерализм как теоретическая концепция наиболее проблематично сочетается с темой экологического кризиса. Принципом либерализма является свобода индивида, которая утверждается в человеческом достоинстве. Индивид автономным образом делает выбор в образе жизни и представлении о благе. Автономия индивида в выборе жизненного пути является более приоритетной по сравнению с семьей или государством. Либеральная демократия тесно связана с краткосрочными индивидуальными предпочтениями и запросами, которыми определяется эффективность деятельности государства. Демократия заинтересована в ограничении эффективности государства. В то же время экологический кризис — это чрезвычайная ситуация. Ее особенностью является отсутствие наглядности негативных тенденций, и потому она требует решительных и непопулярных мер в сфере государственной стратегии. Идея прогресса тесно связана с ориентацией на экономический рост и благосостояние людей, что предполагает все большую эксплуатацию окружающей среды. Если классический либерализм полностью индифферентен к государству, то социальный либерализм допускает вмешательство государства для защиты принципов либерализма. Либерализм ставит индивида в центр мироздания и утверждает его исключительность. Антропоцентризм представляет собой основной методологический принцип либерализма в отношении к природе. Из него вытекают право собственности, свобода торговли, политическая нейтральность. Их интерпретация, как правило, не совместима с экологическими установками. Ситуация начинает меняться, когда экологический кризис выявляет проблему будущих поколений и дефицита ресурсов. Будущие поколения состоят из индивидов, и у нынешнего поколения перед ними возникают обязательства. Вместе с тем становится понятным, что либерализм может соединяться с идеей ценности природы по принципу дополнительности [Виссенбург 2010: 91].

В рамках социального либерализма, защита окружающей среды должна быть обеспечена регулирующей деятельностью государства. При этом права человека и справедливость остаются незыблемыми ценностями [De-Shalit 2000]. Все индивиды стремятся к первичным социальным благам. Сильное государство всеобщего благосостояния руководствуется в своей деятельности концепцией общего блага. Либеральный принцип всеобщего благосостояния может включать всех разумных существ, все экосистемы и даже всех живых существ. Вопрос затрат на экологию, по существу, является политическим вопросом. Рынок не способен определить ценность жизней нынешних и будущих поколений. В основе экологических проблем лежат этические и политические принципы общественного блага. Таким образом, либеральный энвайронментализм в решении экологических проблем придерживается инструменталистского подхода.

Стратегии экологического социализма. Экологический социализм исходит из того, что без существенной трансформации капитализма и его производственных отношений невозможно решение экологического кризиса. «Это шанс для возрождения социалистической перспективы. Если не существует естественных ответов в рыночной экономике или в природе, тогда люди свободны, в ситуации неопределенности, сконструировать свой ответ» [Dobson, Eckersley 2006: 41]. Необходима красная зеленая политика. Одна из влиятельных марксистских концепций получила свое название по статье Джеймса О'Коннора «Второе противоречие капитализма», опубликованной в первом номере журнала «Социализм. Природа. Капитализм» в 1988 году. С точки зрения О'Коннора, Маркс полагал, что капиталистическое хозяйствование порождает негативные экологические последствия, но он никогда не формулировал более широкой экологической концепции, вытекающей из основного противоречия капитализма. В современной экологической марксистской теории борьба за условия

производства переопределила и расширила классовую борьбу как таковую. Это означает, что капиталистические угрозы воспроизводству производственных условий представляют собой не только угрозы прибыли и накоплению, но также и жизнеспособности социальной и «естественной» среды как средства существования цивилизации. Противоречие между способом производства и условиями производства становится актуальным для широкого спектра современных социальных движений [O'Connor 1988: 11–38].

В рамках эосоциализма получили большое влияние взгляды эколога и общественного деятеля Б. Коммонера. Он известен своими «законами экологии», которые были изложены в первой главе книги «Замкнутый круг». Эти законы претендуют на то, чтобы стать принципами эосоциализма: 1) все связано со всем остальным; 2) все должно идти куда-то; 3) природа знает лучше; 4) не существует такой вещи, как бесплатный обед. Смысл первого закона состоит в том, что все здоровые экосистемы являются взаимосвязанными и находятся в состоянии гомеостаза. Нарушение последнего может привести к глобальным проблемам. Например, сжигание ископаемого топлива ведет к перегрузке глобального углеродного цикла, который в свою очередь вызывает драматические изменения климата, глобального ледяного покрова, погодных условий, окисления океана, засухи, государственных бюджетов и во всем мире миграции беженцев. Второй закон связан с тем, что большое количество материалов были извлечены из земли, преобразованы в новые формы и сбрасываются в окружающую среду без учета того, что «все должно идти куда-то». Результатом слишком часто является накопление вредных веществ в местах, где, по своему характеру, они не должны быть. Третий закон говорит о том, что допущение крупных антропогенных изменений в природной системе может иметь пагубные последствия для этой системы. Смысл четвертого закона состоит в том, что каждый выигрыш имеет свою цену.

В экосистеме процессы улучшения и ухудшения каких-либо параметров зависимы. Экологический кризис — это предупреждение [Commoner 1971].

Стратегии глубинной экологии. Проблема экологических стратегий, основанных на традиционных политико-идеологических концепциях, заключается в том, что центральным ориентиром в формулировании их целей остается антропоцентризм. К целям, связанным с господством человека в мире, с превосходством отдельных наций и цивилизаций, присоединяется еще необходимость защиты окружающей среды для условий комфортного существования. Окружающая среда воспринимается как объект для манипуляций, который должен соответствовать поставленным задачам. Норвежский философ Арне Нейс предложил концепцию «глубинной экологии», которая появляется как альтернатива традиционному подходу, получившему название «поверхностной экологии» [Naess 1973: 95—100]. Ее центральным принципом и понятием становится «экоцентризм», противостоящий «антропоцентризму». Экоцентризм и его вариации в виде биоцентризма, натуроцентризма исходят из внутренней ценности всех форм живой и неживой природы. Человек не является чем-то уникальным в ряду других существ, которые также обладают совершенством, каждый в своем роде, как и человек, созданный по божественному образу и подобию. В стратегиях глубинной экологии впервые сформулирована цель: преодоление экологического кризиса, соразмерно его принципу природа является безусловной ценностью. Экоцентризм не рассматривает природу в качестве средства, или источника ресурсов. Смысл его стратегии заключается в глобальном отказе от техногенной нагрузки на природу и нахождение места человека в природе как ее органической части.

Все формообразования природы должны обладать правами наряду с человеком и быть защищены. Разнообразие природных форм является самостоятельной ценностью, и люди

не имеют права сокращать это разнообразие. Человечество должно поставить под вопрос питание высокоразвитыми животными, отказаться от зоопарков, цирков и научных экспериментов над животными. Вместе с тем сокращение населения совместимо с сохранением и процветанием всех форм жизни. Жизненные стратегии человека должны быть изменены и направлены на внутренние ценности. В глубинной экологии происходит смещение акцентов в рассмотрении отношения природы и человека. Главное состоит уже не в том, что человек противостоит природе, но в том, что человек является частью природы. В то же время это не означает его полное погружение в материальное существование. Если человек, будучи частью природы, обладает субъективностью, то это значит, что и природа как целое с необходимостью также обладает субъективностью. Она содержит в себе трансцендентное начало, объясняющее возможность человеческой субъективности. Принцип самореализации в глубинной экологии показывает, что наш духовный рост начинается тогда, когда мы выходим за границы своей телесности и начинаем отождествлять себя с другими людьми. Дальнейшее развитие предполагает нашу идентичность со всем миром вне человеческого рода. Только так, с помощью медитативной практики, мы можем достичь истинной субъективности. Самореализация собственного я возможна при включении в себя всего мира. Вторым нормативным принципом является биоцентрическое равенство. Все существующие организмы в биосфере имеют свою внутреннюю ценность. Биоцентрическое равенство всех живых существ только подтверждается тем, что все виды используют друг друга в качестве пищи, или убежища. Тем не менее, нанося ущерб природе, мы наносим ущерб себе. Границы условны, и все взаимосвязано. Мы должны минимально воздействовать на других и на природу. Потребность в духовном росте и общении более важна для человека, нежели материальные потребности. Возникают контуры нового понимания природы.

Стратегия глубинной экологии направлена на изменение экономических, технологических и идеологических структур. Изменение идеологии направлено на перемены в оценке качества жизни с переориентацией на нравственные ценности. Глубинная экология придерживается стратегической линии невмешательства в природу, создания принципиально новой этики, связанной с правами всего живого и понимания ценности природы.

Вместе с тем понятие эгоцентризма не стоит воспринимать односторонне и плоско. Эгоцентризм не просто отрицает антропоцентризм, а «снимает» его. Он сохраняет в себе содержание антропоцентризма. Только человек как разумное существо способен к регулированию своей деятельности в отношении к природе. Человек вырабатывает иерархическую картину мира, в которой он берет на себя ответственность и отказывается от доминирования. Биологический мир как самоценность включает в себя человека. Человечество должно руководствоваться ориентиром этического экологического императива: «Правильно и разрешено только то, что не нарушает существующее в природе равновесие». Понятие эгоцентризма не исчерпывает отношения человека и природы, хотя оно и значимо сегодня для трансформации старого мировоззрения. Понятие коэволюции общества и биосферы является более сложным видом взаимодействия. Формулирование коэволюции как преодоление эгоцентризма в цели развития экологических стратегий государств возможно на следующем этапе развития.

Государство, как представитель общего интереса, в противоположность множеству частных интересов гражданского общества, может стать экологическим государством, создавая условия для формирования экологической политики. В международной политике экологическая повестка становится пространством, в котором государства и наднациональные структуры используют экологические стратегии по целому

спектру вопросов. Таким образом, экологические стратегии приобретают широкую социальную базу, оставляя открытыми вопросы реализации заявленных целей.

Стратегии устойчивого развития. Серьезные экологические проблемы носят глобальный характер, и поиск их решения осуществляется в рамках международных мероприятий. Уже в семидесятых годах XX века возникла идея создания международной стратегии охраны окружающей среды. Конференция ООН по окружающей среде 1972 г. в Стокгольме обобщила первые результаты осознания экологических проблем. На конференции была принята декларация, в которой были сформулированы 26 принципов целей, направленных на защиту окружающей среды. Первой главной целью является сохранение условий существования человека. основополагающий принцип гласит: «Человек имеет основное право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь, и несет главную ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений»¹.

В качестве целей также определены сохранение природных ресурсов земли; не возобновляемые ресурсы должны быть максимально защищены от истощения.

Доклад «Наш общее будущее» был подготовлен в 1987 году комиссией во главе с министром окружающей среды Норвегии Гро Харлем Брундтланд под эгидой ООН [Наше общее будущее 1989]. Результатом этой работы стал вывод о необходимости перехода к устойчивому развитию (sustainable development). Термин получил следующее определение: «Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под

¹ Стокгольмская декларация. URL: <http://www.eclife.ru/laws/inter/1972/04.php> (дата обращения 20.01.2022).

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [Наше общее будущее 1989: 50]. Основательная критика предложенного определения в последующие годы не привела к общепринятому определению. Считают перевод этого термина неудачным, поскольку у правительств могут возникнуть и возникают опасные иллюзии по поводу того, что экологический кризис можно преодолеть с помощью и технологий и простых решений. Тем не менее, сложилось общее представление, что окружающая среда на Земле — регулируемая система, и ее регулятором является биота, система живых организмов, система жизни, реагирующая на возмущения окружающей среды, на отклонения ее параметров от нормы так, чтобы возвратить эти параметры к нормальным значениям. Окружающая среда — это совокупность всех объектов материального мира, влияющих на биоту и испытывающих влияние с ее стороны. Человек имеет на земле свою экологическую нишу, выход за которую нарушает равновесие. Если человек оказывается монополистом в своей нише, то он быстро исчерпает свои ресурсы и его численность резко сократится. Как вид, человек стал монополистом еще в палеолите. Человек-охотник претерпел экологический кризис, связанный с исчезновением крупных животных. Подобные кризисы отражаются на всей биосфере. Если человек сможет расширить свою нишу, то развитие может продолжиться. Изобретение земледелия и скотоводства создало новые биогеохимические циклы, которые способствовали преодолению кризиса.

Создание новой экологической ниши является стратегической задачей человечества. В связи с изменением ментальности и психической конституции человечества, его ждет новый виток антропогенеза. «Устойчивое развитие» может стать стратегией перехода к коэволюционному развитию. Необходимо создание квазиравновесных состояний, в которых будет возможна трансформация экологической ниши

человека. На этом пути обсуждаются две стратегии, имеющих полярные позиции. Первая стратегия направлена на создание искусственной цивилизации, основанной на созданных искусственно биохимических циклах. Создание автотрофности человечества. Эта стратегия разрабатывается в контексте космических программ колонизации планет. Другая стратегия направлена на адаптацию человека к естественным циклам, на сохранение биосферы. Она направлена на постепенный возврат человека «назад в природу».

На конференции ООН в 1992 году в Рио-де-Жанейро под названием «саммит Земли» концепция устойчивого развития была принята в качестве цели развития человечества. Концепция получила расширение через присоединение социального аспекта к экологическому. Для развивающихся стран проблемы нищеты и голода накладываются на экологические проблемы.

После финансово-экономического кризиса 2008 года возникла потребность в новой модели экономики, которая получила название «зеленая экономика». В сентябре 2015 года на конференции ООН были разработаны цели устойчивого развития. В том же году было заключено Парижское соглашение о борьбе с изменением климата. Концепция устойчивого развития предполагает синтез трех сфер: экономический рост, социальная ответственность, экологическое равновесие. Цели устойчивого развития были определены до 2030 года. Они предполагают стремление к балансу трех сфер на основе наращивания экономического роста. Были сформулированы 17 целей и 169 конкретных задач.

Важным компонентом стратегии устойчивого развития являются индикаторы. Индикаторы — это показатели, с помощью которых судят о состоянии или изменении различных переменных. Индикаторы являются базой для планирования деятельности в направлении достижения заявленных целей. Необходимость разработки индикаторов была сформулирована еще на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году. С их

помощью предполагался и контроль за внедрением устойчивого развития. Разработка индикаторов движется по двум направлениям. Разрабатываются интегральные индикаторы на основе трех групп показателей: эколого-экономических, эколого-социально-экономических, собственно экологических; индикаторы по отдельным аспектам устойчивого развития: экономические, экологические, социальные, институциональные. При этом общий подход еще не выработан.

Сложные системы индикаторов разрабатывают международные организации: ООН; Всемирный банк; Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, система экологических индикаторов); Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Большое значение имеет индекс экологического следа (давления на природу) (ЭС) (The Ecological Footprint), который публикуется в глобальном Докладе Всемирного фонда дикой природы (World Wild Fund). Экологический след выражается в глобальных гектарах (на душу населения) и показывает количество условных гектаров территории, необходимых для обеспечения жизни человека с текущим уровнем потребления и утилизации отходов его жизнедеятельности. Сейчас этот индекс превышает биоемкость планеты более чем на 50% [Устойчивое развитие... 2015: 67].

К 2020 году были разработаны множество индикаторов, которые, однако, не дают ясной комплексной картины и часто смешивают происходящие процессы. Так при оценке экономических процессов могут подменяться такие явления, как ресурсный кризис и экологический кризис. Экологический кризис, при котором происходит разрушение стабилизирующих механизмов естественной биоты, подменяют ресурсным кризисом истощения некоторых полезных ископаемых, которые можно заменить при развитии технологий. Такое положение дел связано с высокой политической составляющей в оценке результатов этих измерений и двойными стандартами

государств, разрушивших свои естественные биоты. Современные стратегии развития часто пытаются воспроизвести старые подходы. Добыча природных ресурсов ориентируется на их поиск на океанических шельфах, в труднодоступных зонах вместо того, чтобы практиковать более глубокую переработку сырья, природоподобные технологии.

Стратегии устойчивого развития не должны исчерпываться природоохранной деятельностью. Это опасная иллюзия, поскольку человечество уже вышло за свои пределы роста. Основные проблемы стратегии устойчивого развития неотделимы от необходимости перехода к новой организации общества, к экологическому государству и цивилизации.

Стратегии зеленой экономики (зеленого роста). Мировой финансово-экономический кризис 2008 года стал тем рубежом, когда стало понятно, что стратегии устойчивого развития достаточно абстрактны и без новой экономики и новой стратегии развития невозможно дальнейшее устойчивое развитие. Организация Объединенных наций начала разработку новой стратегии с ключевым понятием «зеленая экономика». Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ввела понятие «зеленый рост». В рамках этой стратегии признается, что экономика является решающим фактором для достижения экологической устойчивости. Целью стратегии зеленой экономики является экономическое развитие при сохранении окружающей среды и выполнении социальных задач. Предполагается, что зеленая экономика должна существенно снижать экологические угрозы и вместе с тем создавать условия для расширения благосостояния людей и социальной справедливости. Стратегия устойчивого развития определяется как переходная к зеленой экономике. Стратегия зеленой экономики касается всего мира, и первая проблема, с которой она сталкивается, это проблема неравномерного экономического развития стран. Развивающиеся страны сталкиваются с экономическими и социальными

проблемами. Преодоление нищеты несравнимо с проблемами экологии. Экология — это забота развитых стран. Преодоление этого противоречия усматривают в том, что с ростом благосостояния экологические проблемы станут все более актуальными. С повышением дохода на душу населения деградация окружающей среды снижается. Однако такая теоретическая конструкция не учитывает, что большая часть развивающихся стран достаточно далека от уровня экономического развития, который можно было бы считать относительно благополучным. Усиление техногенной нагрузки с низкими технологиями уже неприемлемо для современности. Если говорить о развитых странах, то в процессе достижения уровня развития, который приводит к актуализации экологических проблем, они лишились своих природных ресурсов и естественной среды. Экологические издержки они просто перекадывают на развивающиеся страны. Вывод грязных производств в развивающиеся страны представляет собой распространенную технологию западных государств.

Одним из ведущих факторов, влияющих на новую модель экономики, является изменение климата. Оно связано с выбросами парниковых газов, повышающих температуру Земли. Парижское соглашение определило цель не допустить увеличения температуры выше 1,5–2 градусов в XXI веке. Снижение выбросов парниковых газов к 2050 году до нулевых параметров заявлено многими странами. Поставлена задача перехода к низкоуглеродной экономике. Необходимо повысить энергоэффективность жилья, создать умную инфраструктуру. Усилия развитых стран направлены на декарбонизацию экономики, но одновременно они сохраняют высокий уровень углеродоемкого импорта. Перенос экологической нагрузки от одних государств к другим осуществляется по многим наименованиям товаров.

Одна из центральных целей стратегии зеленой экономики относится к развитию энергетики. Энергетика должна быть

направлена на использование возобновляемых источников энергии. Многие страны взяли на себя обязательства перейти к безуглеродной энергетике. Стратегии зеленой экономики предполагают развитие ветряной, солнечной генерации и отказ от углеводородов во всех вариантах, а также атомной энергетике. Одной из важных составляющих зеленой экономики является активное внедрение зеленых технологий. Оно связано еще и с тем, что банки ограничивают финансирование недостаточно зеленых компаний. Активное влияние происходит на сознание потребителей. Зеленая экономика развитых стран пытается достичь конкурентного преимущества перед поставщиками углеводородов. Системная перестройка экономики Европы направлена на создание экологических стандартов ЕС, несоответствие которым ведет к климатическим налогам. Все это ведет к переделу существующих рынков и ограничению экономического доминирования США и Китая. Компании, не внедряющие зеленые технологии, будут ограничены в конкурентной борьбе. Важнейшим является вопрос о том, кто будет определять стандарты климатической нейтральности. Европейский Союз претендует на лидерство в этом направлении. Борьба за стандарты имеет политический контекст и ведет к недобросовестной конкуренции. Развивающиеся страны оказываются в заведомо проигрышной ситуации. Обсуждаются возможности климатических санкций, ответственность за «преступления против климата». Европа уже в 2025 году планирует введение климатических налогов, величина которых зависит от углеродного следа при процессе производства. В России налог более всего ощутят поставщики газа, никеля и меди.

Новым источником для энергии в зеленой экономике может стать водород. Германия надеется, что водород станет основным инструментом декарбонизации страны. В задачи России входит стать ведущим экспортером технологий использования водорода. В «энергетической стратегии Российской Федерации»

поставлена цель стать крупнейшим производителем и экспортером водорода¹. Водород в экономике делится на «серый», который производится с выбросами парниковых газов из метана, и «чистый» водород, который производится из парниковых газов. Производство водорода сегодня еще имеет мало стимулов, но рассматривается как перспективное направление².

Экологические стратегии «Римского клуба». Одним из значимых центров в теоретическом осмыслении экологических проблем становится созданная в 1968 году, благодаря усилиям Аурелио Печчеи, организация Римский клуб (Club of Rome). В центре внимания членов клуба стоят глобализационные процессы в мире и их последствия, в том числе проблемы экологии. По заказу клуба создаются доклады, которые принимаются при посредстве широкого общественного обсуждения.

Первым таким докладом, посвященным проблемам экологии, стал доклад 1972 года «Пределы роста», подготовленный группой Донеллы и Дениса Медоуз [Медоуз 1991]. Доклад продемонстрировал системный характер экологического кризиса. Рост населения земли с одного миллиарда до почти восьми миллиардов порождает проблему с обеспеченностью продовольствием, которая влечет за собой истощение земель, водных ресурсов и рост энергопотребления. Рост промышленности и добычи природных ресурсов влекут за собой изменение климата и рост загрязнения земли, океанов, воздушной среды отходами производства. Специалисты Массачусетского технологического института на основе математического моделирования и анализа пяти параметров использования не возобновляемых природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, капиталовложений, роста народонаселения

¹ Распоряжение от 9 июня 2020 года N 1523-р [Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года].

² Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 N 3052-р <Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

и обеспеченности его продовольствием предсказали, что уже в начале XXI века человечество достигнет в своем развитии пределов роста. Были даны рекомендации остановить рост населения при помощи активной демографической политики и рост производства. В 1992 году те же авторы выпустили доклад «За пределами роста» [Медоуз 1994]. Через десять лет вышла работа «Пределы роста. 30 лет спустя» [Медоуз 2008]. Эти исследования показали, что развитие цивилизации происходит в контексте усугубляющегося экологического кризиса. Поиск резервов экономического роста в рамках концепции устойчивого развития привел в 1997 году к принятию нового доклада «Фактор четыре. Удвоение богатства, двукратная экономия ресурсов» [Вайцзекер 2000]. В этом докладе предлагается сценарий четырехкратного увеличения производительности, не выходя за пределы роста. Э. У. Вайцзеккер являлся также соавтором доклада «Фактор пять: Формула устойчивого роста: доклад Римскому клубу» [Вайцзеккер 2013].

Со временем становилось очевидным, что экологические стратегии испытывают потребность в собственном теоретическом основании, формируемом в контексте критического отношения к мировоззренческим ценностям всего предыдущего развития человеческой цивилизации. Такую попытку предприняли представители Римского клуба в рамках нового доклада, изданного в честь пятидесятой годовщины Римского клуба в 2018 году [Weizsaecker, Wijkman 2018]. Авторами доклада являются сопредседатели Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер и Андерс Вийкман, в соавторстве еще с тридцатью четырьмя членами Римского клуба. Этот доклад претендует на то, чтобы сформулировать теоретические основы экологической стратегии. Он состоит из трех крупных частей, первая из которых — «Давай, не говори мне, что текущие тренды являются устойчивыми» посвящена критике состояния современного мира. Вторая часть, «Давай, не хватайся за старую философию»,

посвящена мировоззренческим сдвигам в ценностях и установках. Третья часть: «Давай! Присоединяйся к нам в захватывающем путешествии на пути к устойчивому миру».

Авторы исходят из новой картины мира, основанной на концепции «Полного мира» Германа Дэйли [Daly 2005: 100–107]. Человечество до середины XX века жило в «пустом мире», в котором превалировало экстенсивное развитие. Человек покорял неизведанные земли, расширял влияние цивилизации и экономики. В таком мире экстенсивное развитие было преваляющим. Мировоззрение и системы ценностей «пустого мира» были выражены в идеалах антропоцентризма, прогресса, европейского просвещения XVII–XVIII веков. Эти принципы удивительным образом сочетались с колониальным рабством, бедственными условиями жизни рабочего класса и крестьянства. В полном мире не осталось неизведанных земель и континентов, дефицит ресурсов становится очевидным, экономика преодолевает все национальные границы и начинает принимать глобальный характер. Экономика должна быть преобразована таким образом, чтобы мир мог стать устойчивым в долгосрочной перспективе. Во-первых, необходимо ограничить использование всех ресурсов до уровня, на котором в конечном итоге получаемые отходы могут быть поглощены экосистемой. Во-вторых, возможно эксплуатировать возобновляемые ресурсы до уровня, который не превышает способность экосистемы повторного создания ресурсов. В-третьих, истощение не возобновляемых ресурсов не должно превышать темпы развития возобновляемых заменителей. «Производственный капитал не может заменить природного капитала... Сегодня ограничено количество рыбы в океане; строительство большего количества судов не увеличит уловов. Для обеспечения долгосрочного экономического здоровья государств, они должны поддерживать уровень природного капитала (например, рыбы), не только всего богатства» [Daly 2005: 102].

С точки зрения Э. Вайцзеккера и А. Вийкмана сама концепция и практика капитализма были сформированы в пустом мире, а продолжающиеся финансовые кризисы в XXI веке имеют иную природу, нежели те, которые описаны в классических учебниках политэкономии. Противоречивость сложившейся ситуации показывает такой важный макроэкономический показатель, как валовой внутренний продукт, определяющий политику всех государств в мире, поскольку он не может адекватно отражать устойчивое развитие в полном мире. ВВП направлен на положительное измерение затрат, даже если они только компенсируют результаты разрушений и катастроф. «Например, разлив нефти увеличивает ВВП из-за связанных с этим расходами по очистке и восстановлению, в то время как он очевидно не увеличивает общее благосостояние. Примерами других видов деятельности, которые увеличивают ВВП будут стихийные бедствия, большинство болезней, преступления, аварии и разводы» [Weizsaecker, Wijkman 2018: 55].

Экономисты-экологи различают рост, понимая под ним количественное увеличение в размерах, от развития, заключающегося в качественном улучшении технологий, выборе этических приоритетов, и выступают за развитие без экономического роста за качественное улучшение без количественного увеличения поглощения ресурсов. Понятие полного мира позволяет по-новому увидеть современные проблемы. Искаженное восприятие современного мира основывается на многих источниках и их неверных интерпретациях. Центральными фигурами, концепции которых были системообразующими и, одновременно, односторонне истолкованными, являются Адам Смит, Давид Рикардо и Чарльз Дарвин. Именно установки пустого мира привели к доминированию в мировоззрении предшествующей эпохи трех принципов, сформулированных этими авторами: 1) предпочтение невидимой руки рынка над государственным законодательством; 2) свободная торговля

на основе сравнительных преимуществ является взаимовыгодной для всех участников рынка; 3) конкуренция является движущей силой эволюции и прогресса. Авторы доклада говорят о необходимости нового Просвещения. Новое Просвещение должно существенно отличаться от европейского Просвещения. Оно должно основываться на опыте различных цивилизаций. Наиболее древние традиции базируются на идее баланса (balance). Прежде всего необходимо достичь баланса между разумом и чувствами, результатом которого должно стать целостное мировоззрение. Китайские символы Инь и Ян являются образцом баланса противоположностей. В новом просвещении принцип синергии должен быть положен в основу поиска баланса: между человеком и природой; между кратковременной и долговременной перспективой; между скоростью и стабильностью; между частным и публичным; между женщинами и мужчинами; между справедливостью и вознаграждением за достижения; между государством и религией. Изменение стратегических целей человечества может занимать сотни лет развития, но уже сейчас, по мнению авторов, существуют тенденции движения в нужном направлении.

Формирование экологических стратегий России. Выработка экологических стратегий в Российской Федерации начинается с начала 90-х годов и представляет собой сложный политический процесс. От Советского Союза в наследство России досталась экологическая политика в форме деятельности в сфере производства. Основной проблемой являлась необходимость снижения ресурсоемкости всех производственных процессов, как причины загрязнения окружающей среды. Природоохранное законодательство выступало основным механизмом ее реализации. Политический характер ее проявлялся в расхождении интересов руководителей, экологов, жителей, работников.

В конце XX и начале XXI века ситуация в сфере экологической политики не отличалась динамизмом. Сформировалось

несколько сил, формирующих стратегические направления. Одно крыло государственников остается на позиции нежелания никакой экостратегии, ориентируясь на первоочередные потребности экономики. Другие, защитники природы, главной целью видят подчинение человека природным ограничениям, возврат к устойчивости через запреты. Третьи силы формируют свои позиции в рамках международных документов, ориентируясь на устойчивое развитие в процессе малой экологической модернизации. Выбор стратегий исходит из представлений об эволюционном характере социо-природных процессов и игнорировании техногенных и социогенных рисков.

Иной тип стратегии видит ограниченность экологической политики в ее локализации в отдельном министерстве. Государство в целом должно встраивать экологические механизмы целеполагания, мониторинга и контроля во все структуры экономики и нести ответственность за этические, идеологические и технологические составляющие экологической политики.

Альтернативная стратегия, формирующаяся в рамках гражданского общества, исходит из признания перехода человечеством «пределов роста» и наступившей экологической катастрофы. Выход видится на пути радикального сокращения населения и норм потребления, особенно энергии. Практические шаги должны осуществляться через создание глобального экологического сообщества. Эта стратегия может дополняться анархическими идеями децентрализации, самоорганизации, трансформации политико-экономической системы.

Все экологические стратегии соглашаются, что важнейшим механизмом их реализации является экологическое образование. Речь идет о создании и расширении нового языка экологической культуры, который бы позволил преодолеть фрагментацию экологических представлений и проблем. Экологическое образование должно опираться на определенную экологическую этику и систему ценностей, альтернативную утилитаризму,

потребительству. Система экологических ценностей упирается в ряд ограничений, связанных с особенностями ментальности национального характера, политической культуры, этнической гетерогенности, мифологем и предрассудков, появления новых субъектов экономической деятельности.

Один из важных вопросов механизмов экологической стратегии — это вопрос о субъектах реализации экологических стратегий. Государство обычно выдвигается на первое место. В чем же оно выражается? Можно выдвинуть тезис о создании экологического государства, наряду с правовым и социальным. С другой стороны, у современного государства с относительно коротким циклом политического воспроизводства существует множество задач, несовместимых с долгосрочными экологическими стратегиями. Государство может быть представлено Комитетом, защищающим интересы природы, решающим принципиально другие задачи, чем правительство. Другим субъектом могут быть политические партии, при условии, что они будут иметь достаточный политический вес. Следующим актором экологических стратегий являются экологические движения и некоммерческие организации. Они могут выполнять функции контроля и соединения государства с бизнесом, которые иницируют целеориентированные проекты с общественной оценкой результатов. Выделяют пять направлений в формировании экополитических стратегий: технологическое направление; экономическое направление; административное направление; эколого-просветительское направление; международно-правовое направление.

Экологические стратегии России основываются на системе законодательства в области охраны окружающей среды. Фундаментальной основой является Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»¹.

¹ Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

Этот закон ставит цели: сохранение природной среды, предупреждение вредного антропогенного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества природной среды. Остальные законы не должны ему противоречить. На его основе разработаны законы, связанные с природопользованием, такие как Земельный кодекс, Водный кодекс, Лесной кодекс.

В 2017 году вышел указ президента РФ № 176 «О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», которая сменила стратегию по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития 1994 года¹. Новая стратегия также направлена на обеспечение устойчивого развития и предотвращение и ликвидацию угроз экологической безопасности. Во втором разделе, после общих положений, в 18 пунктах рассматривается текущее состояние «Оценка текущего состояния экологической безопасности». Отмечается значительное техногенное воздействие на природу, проблемы с отходами производства и потребления, негативные природные явления, высокий уровень износа опасных производственных объектов. Далее формулируются «Вызовы и угрозы экологической безопасности». К ним относятся такие как: изменение климата; борьба за доступ к природным ресурсам; наличие теневого рынка в сфере природопользования; размещение опасных производств и отходов на территории РФ. Далее сформулированы «Цели, основные задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности». К основным целям относится сохранение и восстановление природной среды. Для решения задач выделены направления, среди которых: совершенствование законодательства, внедрение инновационных

¹ Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».

технологий, создание индустрии утилизации, минимизация рисков возникновения аварий, реабилитация территорий и акваторий. В разделе «Механизмы оценки состояния экологической безопасности и контроля за реализацией настоящей Стратегии» определены индикаторы, посредством которых происходит оценка и механизм определения оптимальных значений индикаторов.

В октябре 2021 года была утверждена Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года¹. В этой стратегии разработаны два сценария развития России в условиях глобального энергоперехода: целевой (интенсивный) и инерционный. В интенсивном сценарии предполагается рост выбросов парниковых газов до 2030 года лишь на 0,6 % и их снижение на 89 % от уровня 1990 года. Достижение углеродной нейтральности планируется к 2060 году. Предполагается, что масштаб изменений в экономике будет сравним с промышленной революцией XVIII—XIX веков. Центральной задачей станет переход экономики на возобновляемые источники энергии. Одним из главных направлений становятся процессы декарбонизации при сохранении темпов развития. Определены меры, призванные стимулировать процессы декарбонизации, сокращение выбросов парниковых газов, развитие водородной энергетики, лесных климатических проектов.

Таким образом, можно сделать вывод, что угроза усугубления экологического кризиса порождает целый спектр экологических политических стратегий. Глубина и острота проблемы экологического кризиса далеко не очевидны. Вследствие этого разрабатываемые стратегии должны включать в себя основательный анализ текущих процессов и прогнозов

¹ Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 N 3052-р. Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

на будущее. Сложность и комплексность задач, включающих естественно-научную и гуманитарную составляющие, продолжают привлекать внимание к обсуждению и оставлять открытыми вопросы механизмов и ресурсов для реализации экополитических стратегий.

Литература

1. Вайцзеккер Э. Фактор пять. Формула устойчивого роста: доклад Римскому клубу. М. Смит. М.: АСТ-Пресс, 2013. 368 с.
2. Вайцзеккер Э. Фактор четыре. Затрат половина, отдача двойная: Новый доклад Римскому клубу. М.: Academia, 2000. 400 с. 21.
3. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 602–633.
4. Виссенбург М. Либерализм и природа // Полит. наука. 2010. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/liberalizm-i-priroda> (дата обращения: 09.03.2022).
5. Матц У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модерна. Полис. Политические исследования. 1992. № 1. С. 130–142.
6. Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рэндерс Й., Беренс В. В. Пределы роста. М.: Изд-во МГУ, 1991. 208 с.
7. Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рэндерс Й. За пределами роста. М.: Прогресс, Панагея, 1994. 304 с.
8. Медоуз Д. Х., Рэндерс Й., Медоуз Д. Л. Пределы роста. 30 лет спустя. М.: Академкнига, 2008. 342 с.
9. Наше общее будущее. М.: Прогресс, 1989. 371 с.
10. Стокгольмская декларация. URL: <http://www.eclife.ru/laws/inter/1972/04.php> (дата обращения 20.01.2022).
11. Устойчивое развитие: Новые вызовы. М.: Аспект Пресс, 2015. 336 с.
12. Anderson T., Leal D. Free market environmentalism. New York: Palgrave Macmillan. 2001. 241 p.
13. Bliese J. The greening of conservative America. Boulder, CO.: Westview Press, 2002. 352 p.

14. Clark J. P. Political Ecology // Encyclopedia of Applied Ethics, 2nd ed., vol. 3. San Diego: Academic Press, 2012. 3464 p.
15. Commoner B. The Closing Circle: Nature, Man, and Technology. New York: Knopf. 1971. 326 p.
16. Daly H. E. Economics in a full world // Scientific American. 2005. No. 09. P. 100–107.
17. De-Shalit A. The environment: between theory and practice. Oxford: Oxford University Press. 2000. 248 p.
18. Dobson A., Eckersley R. Political theory and the ecological challenge. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 262 p.
19. Forsyth T. Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science 2009 Routledge. 336 p. <https://doi.org/10.4324/9780203017562>.
20. Hempel L. C. Environmental Governance: The Global Challenge, Washington, DC: Island Press, 1996. 291 p.
21. Naess A. The Shallow and the Deep, Long-range Ecology Movement. A Summary // Inquiry. 1973. Vol. 16, no. 1. 1973. P. 95–100. doi.org/10.1080/00201747308601682.
22. O'Connor J. Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction // Capitalism, Nature, Socialism I, Fall. 1988. P. 11–38.
23. Weizsaecker E. von, Wijkman A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Springer, 2018. 220 p.

ГЛАВА 5. РЕФЛЕКСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ «VUCA-РИСКАМИ»: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ¹

Бернхард Вальденфельс писал, что «часто неизвестное является нам в соединении внезапного и могущественного. В первую очередь это относится к моментам возникновения, преобразования, опасности уничтожения индивидуального и коллективного жизненного порядка» [Вальденфельс 1991: 43].

В современной политической науке сегодня большое внимание принадлежит дискуссиям о стратегии и тактике политического управления рисками в условиях в «VUCA-среде» (Volatility – нестабильность, Uncertainty – неопределенность, Complexity – сложность, Ambiguity – неоднозначность).

Непредсказуемость скорости и направления социальных изменений, неспособность определить, а тем более спрогнозировать ход политических событий, невозможность предсказать

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 19–18–00115, <https://rscf.ru/project/19–18–00115>.

исход реализуемых политических курсов путем привычного политического анализа, диаметрально противоположность интерпретаций политической ситуации разными акторами беспощадны к традициям, опыту, привычным стратегиям политических элит и повседневным практикам поведения на личностном экзистенциальном уровне – «миропорядок Z формируется раньше, чем его сумели описать искушённые аналитики» [Ефременко 2022: 12].

Весьма обоснованными в связи с этим представляются выводы, которые делает Энтони Гидденс: «Большая часть оценки риска происходит на уровне практического сознания, и защитный кокон базового доверия блокирует большинство потенциально тревожных событий, которые могут повлиять на жизненные обстоятельства человека» [Гидденс 1994: 115].

При этом, согласно «сценарию Фейгенбаума» – перехода от порядка к хаосу через каскад удвоения бифуркаций, – каждая новая итерация угрозы катастрофы сокращается по времени [Кузнецов 2000: 24–39].

Роберт Йохансен сформулировал рефлексивные стратегии управления каждым из измерений «VUCA-рисков»:

- *Vision (видение)* – в условиях непредсказуемых изменений необходимо фокусироваться на цели и векторе движения, «держат курс при бурных внешних обстоятельствах»;
- *Understanding (понимание)* – исследование и экспериментирование с неопределёнными ситуациями, наблюдение, анализ окружения, готовность к постоянному обучению;
- *Clarity (ясность)* – концентрация на ключевых элементах, отсеивание ненужных и запутанных деталей, определение, в чем состоит риск и что поддается контролю, а что нет;
- *Ambiguity (гибкость)* – разработка всех возможных сценариев и стратегий реагирования на риск, готовность к любому результату и адаптации стратегий для достижения цели [Johansen 2007].

Вместе с тем приходится констатировать многочисленные «провалы» в современных стратегиях управления рисками. В своих предыдущих исследованиях, опираясь на работы А. Я. Рубинштейна [Рубинштейн 2017], мы типологизировали их на институциональные, распределительные (неприемлемое распределение рисков), поведенческие (иррациональное поведение граждан в ситуациях неопределенности, угроз и опасностей) и патерналистские (нерациональное поведение чиновников в ситуации риска) провалы.

К характеристикам институциональных провалов относятся:

- нарушения разумной степени дифференциации рисков, когда выбор не оптимального варианта реагирования на угрозы, а лучшего из худших;
- поляризация и радикализация политических позиций по вопросам определения приемлемости риска;
- дискоординация взаимодействия политических акторов в выборе «альтернатив риска» и «порядка ходов» по его превенции;
- политическая мотивированность и ангажированность принятия решений в условиях неопределенности и их неустойчивость;
- появление на политическом рынке «товаров угроз» с выявляемой или невыявляемой ответственностью;
- наличие *особых своеобразных* политических интересов, связанных с использованием опасностей, и захват чужих компетенций;
- асимметричная и искаженная политическая информация или неинформированность о реальных, прогнозируемых, мнимых или искусственных угрозах (иллюзии «риска» и «заботы об обществе»), систематический блеф и поднятие ставок;
- доминирование в ситуации угроз копинг-стратегий компенсации социальных страхов маниакальным повышением собственной значимости, «политиче-

ским геростратизмом», стремлением нанести вред «чужим»;

- раскоординированность социальных программ минимизации рисков и вероятной расплаты за их реализацию;
- навязывание норм и правил поведения при неопределенности при отсутствии вариантов выбора, приносящего наибольшую полезность (игра с нулевой или постоянной суммой, исключая компромиссы);
- неверные нормативные и правовые установки в области прогнозирования и превенции рисков;
- приватизация доминирующей группой интересов права определения того, что является риском, а что нет;
- расширение групповой или персонализированной «власти риска»;
- едоверие или дефицит доверия к социальным и политическим институтам, ответственным за управление риском;
- аномичные модели воспринимаемого риска и деструкция ценностных ориентаций относительно допустимости/недопустимости риска, его социальной приемлимости, симпатии/антипатии к риску;
- имитация регулирования уровня риска, его контролируемости и двойные стандарты в определении приемлемого уровня риска для различных социальных групп;
- подмена целеполагания при принятии решений в риск-менеджменте (маскировка целей при принятии непопулярных политических управленческими решениями в ситуации опасности или табуирование обсуждения результатов/показателей достижения целей устранения/минимизации риска);
- унифицированный подход, единые шаблоны при реализации программ по управлению риском, игнорирование специфики их восприятия у различных социальных слоев и групп интересов с разным временным горизонтом получения желаемого результата снижения риска,

сознательное уклонение от фиксирования или подмена конечного результата промежуточным результатом;

- деформация соотношения объема ресурсов, использованного на минимизацию рисков и результатов;
- преобладание в обществе в целом и у наиболее уязвимых групп стратегий, основанных на низком уровне риска, — солидарности и недоверии политическим институтам («здоровое» и «деструктивное» общество риска) [Алейников 2021: 185—187].

Управленческие стратегические риск-провалы ведут к ситуациям, когда в условиях ощущения незащищенности, смятения, неуверенности «вместо прямого ответа мы переносим наши враждебные чувства на более безобидные мишени. Именно о таком смещении идет речь в старом анекдоте о муже, который бранит жену, которая вопит на сына, который пинает собаку, которая кусает почтальона» [Майерс 2011].

Весьма обоснованной в связи с этим представляется концепция «критического случая» О. Н. Яницкого, как такого состояния «общества риска», когда «производство бедствий и разрушений является доминирующим способом общественного производства, имеющим свои цели, ценности, институты и закономерности» [Яницкий 2002: 85].

При этом, являясь безраздельно господствующим способом легитимации производства рисков, он заточен на получение политических дивидендов силами, находящимися за пределами критической зоны.

При этом для производителей риска зачастую главным риском является — «риск игрока в “русскую рулетку”: неотыгрываемый окончательный проигрыш» [Павловский 2019].

«Логическим завершением “критического случая” является беспредел. В терминах концепции “общества риска” беспредел есть максимальный риск для риск-потребителей при минимальной ответственности для риск-производителей... Другими словами, беспредел есть максимальная ставка для

некоторого социального субъекта (жизнь) в ситуации полной невозможности непосредственного ответа на угрозу (все ресурсы выживания в чужих руках). Беспредел – это социальное пространство, где невозможно жить, но откуда невозможно и убежать» [Яницкий 2002: 95].

В конечном счете субъекты рефлексивно-управляемого риска формируют контуры риск-представлений, риск-оценок и риск-предпочтений не только и не столько в результате собственных наблюдений, но главным образом под воздействием представлений, оценок, ожиданий и предпочтений других субъектов [Модели управления 2008].

Анатомируя современные угрозы и опасности, рискология привлекает понятие страха, так как «в случае с рисками возникающие страхи и тревоги легко переводить в другое русло. Здесь обнаруживается то, что не может быть определено, от чего можно только тем или иным способом отвлечься, искать и находить символические места, объекты и личности для подавления своего страха. В осознании рисков распространены и пользуются особым спросом смещенные мысли и действия, смещенные социальные конфликты. С ростом опасности и при одновременном политическом бездействии в обществе риска появляется имманентная тенденция стать “обществом козлов отпущения”: не опасности виноваты, а те, кто их вскрывает и сеет в обществе беспокойство» [Бек 2000: 37].

Неверные атрибуции при восприятии рисков, включающие в себя переоценку понятных, известных, запоминающихся опасностей, ориентацию на собственный политический опыт преодоления угроз, жесткое сложившееся мнение об их источниках, а не на объективные данные, стремление установить связь между различными последовательными событиями, служат основой «рискофобии» или «рискофилии». Российский исследователь С. А. Кравченко отмечает, что «с помощью меняющихся трактовок рисков, производимых научным

и обыденным знанием, усиливается текущий страх. В итоге как объективные рискогенные реалии, так и субъективно сконструированные риски и риск-восприятия фактически становятся нормой жизни, способствуя перманентному самовоспроизводству рискофобии... Наряду с тенденцией рискофобии зарождается и получает развитие рискофилия — тяга к рискогенной активности, всему тому, что вызывает позитивные эмоции от деятельности, сопряженной с повышенной степенью риска [Кравченко 2017].

Большинство исследователей социального страха фиксирует, что он политичен [Дуткевич 2017]. Как подчеркивает К. Робин, страх зарождается в обществе, имеет далеко идущие последствия, «может диктовать политику, приводить новые группы к власти и не пускать другие, создавать и отменять законы» [Робин 2007: 11].

Подобные теоретические посылки, очевидно, можно применить к исследованию механизмов столкновений индивидуальных сигналов об угрозах с актуальной политической повесткой, системой правил их интерпретации, сложившейся в публичном политическом дискурсе, с политическим целеполаганием и замыслами правящих кругов [Соловьев 2019], которые могут ослабить или усилить восприятие рисков, поскольку сила власти зависит от объема контроля над источником неопределённости [Crozier 1965].

Кроме того, очевидно, что «беспредел» определяет антагонистический дискурс о риске, конфликт между «риск-бенефициарами» и «риск-аутсайдерами», который в пределе требует радикального взаимного позиционирования их как «других», как врагов, как «низших» или «высших» [Carpentier 2017], а «риск» призывают на службу для выпадов против злоупотреблений власти. Обвинение в создании обстановки риска — это дубинка для битья авторитетов, средство расшевелить ленивых бюрократов, вырвать возмещение для жертв» [Дуглас 1994: 245].

«Пророк, – подчеркивал Р. Мертон, – неизбежно будет приводить действительное развитие событий в качестве подтверждения своей изначальной правоты» [Мертон 2006: 606].

«Риск-пророки» обеспечивают успех социального конструирования риск-рефлексий политической легитимации принимаемых, в условиях или реальных, или вымышленных угроз и опасностей политических решений, а с другой – отвечают за бездействие и молчание, любое «обнаружение себя» в пространстве риска. Однако эти технологии формирования доверия/недоверия, веры/отрицания в рациональность/иррациональность рискованного поведения, в значимость существующих форм управления рисками, выстраиваемые риск-производителями, могут привести к отложенной реакции постепенного соскальзывания к формированию, в том числе и на экзистенциальном уровне, «порядка беспредела».

Адаптируя к исследованию риск-рефлексий теорию «фальсификации предпочтений» Тимура Курана, можно предположить, что социальные субъекты при выборе альтернатив в ситуации неопределенности адаптируют свой выбор к социально приемлемому варианту, то есть выбирают такую стратегию рискованного поведения, которая отличается от их реальных устремлений, поддерживая социальные варианты, которые были бы решительно отвергнуты при свободном индивидуальном выборе.

Выбор же публичных предпочтений выгод и издержек зависит от выбора, который делают другие, от взаимозависимостей между различными решениями в условиях риска. В процессе фальсификации предпочтений знания о рисках «скрываются, искажаются, игнорируются, коррумпируются и обедняются».

Другими словами, у субъекта есть риск-рефлексии, которыми он делится с другими, и риск-рефлексии, которые предпочтается держать при себе. Следуя логике Курана, если эти риск-рефлексии различаются, это значит, что человек

занимается «фальсификацией восприятия риска». На словах утверждают, что «все в порядке», «угрозы не страшны», «риски под контролем», пока не будет достигнут «порог возмущения», и тогда начавшийся процесс дестабилизации станет неожиданностью для всех [Kuran 1995].

«Фальсификация восприятия риска» позволяет риск-бенефициарам конструировать риск-рефлексии и поведение риск-аутсайдеров, либо принуждая к поощряемым формам рискованной деятельности, либо запрещая неприемлемые для них ее формы. По сути, в этом контексте восприятие риска «лишается рефлексивности», у субъекта исчезает обратная связь с самостоятельной оценкой перспектив выигрыша/проигрыша, последствий для себя и окружающих, ответственности за последствия рискованного действия.

Здесь можно выделить два подхода. Первый из них предполагает, что риск-потребители безусловно верят риск-производителям и воспринимают сообщаемую им информацию об угрозах как истинную, независимо от своего индивидуального восприятия опасностей. Тогда риск-производители могут формировать различные рефлексивные структуры как формы идеального замещения реальности риска, оправдывающие саму систему производства рисков, готовности риск-потребителей «стойко переносить все тяготы и лишения».

Второй подход заключается в том, что риск-производители лишь снижают для риск-потребителей уровень неопределенности, сокращая тем самым восприятие степени опасности.

П. Штомпка выделял четыре типичные позиции, которые люди занимают перед лицом усилившегося риска и нестабильности:

1. *«Мне по горло хватает своих проблем»* – прагматическое принятие жизни такой, какая она есть, «вытеснение» из своего сознания мысли о грозящих опасностях за счет сосредоточения внимания на решении повседневных проблем.

2. *«Всегда найдется какой-нибудь выход»* – последовательный оптимизм и вера в то, что опасности и нестабильность рассеются, исчезнут по воле Провидения, в силу счастливо сложившейся судьбы, благодаря врожденному здравому смыслу людей.

3. *«Раз и так всем нам предстоит погибнуть, то, по крайней мере, пока живем, возьмем от жизни все, что можно, все ее радости»* – это циничный пессимизм, стремление жить одним текущим сегодняшним днем, предельно насыщаться гедонистическими удовольствиями, поскольку «сокращение временного горизонта» и уменьшения объема «отпущенного нам» времени предопределено неизбежностью превращения в реальность существующих угроз.

4. *«Все вместе, общими усилиями, мы можем отвести эту беду, противостоять этим угрозам»* – радикальная борьба с источниками грозящих бед посредством мобилизации общественного мнения, организации пропагандистских кампаний, формирования социальных движений [Штопка 2008: 599].

Мы полагаем целесообразным расширить диапазон анализа, включив в него изучение фрейминга рисков, то есть использования когнитивных структур для схематизации опыта рискованного поведения, для определения ситуации опасности, выявления и идентификации рисков [Вахштайн 2011; Гофман 2004].

«Операция фреймирования, – подчеркивают Д. Яноу и М. ван Хульста, – предполагает отправку и получение некоторых сигналов о том, что происходит... Таким образом, устанавливаются различия между, например, жертвами и преступниками, друзьями и врагами, своими и чужими, нормальными и ненормальными, старым и новым... Фреймирование предполагает непрерывное повествование о проблемных ситуациях и – одновременно – социально-политическое участие в этих ситуациях» [Яноу 2011: 92].

Опираясь на исследования Р. Бенфорда, под фреймингом риска можно понимать активную работу по атрибуции, определению смысла угроз и опасностей для мобилизации своих сторонников за счет избирательного акцентирования и номинирования ситуаций как рискованных [Benford 1997: 415–416].

Используя типологизацию К. Халлахана [Hallahan 1999; Пономарев 2010], можно выделить следующие виды фрейминга риска:

- Фрейминг ситуации – определяет взаимодействия риск-производителей и риск-потребителей.
- Фрейминг атрибутов – акцентирует спорные вопросы о конкретных характеристиках «вредности» рисков в описании риск-производителями и риск-потребителями.
- Фрейминг проблемы – определяет специфические атрибуты конкретной рискованной ситуации в сравнении с уже известными сходными угрозами и выбор субъектом вариантов решения.
- Фрейминг ответственности – осуществляется для влияния на интерпретацию риск-потребителями угроз и объяснения поведения других социальных субъектов в ситуации риска.
- Фрейминг выбора – определение перспектив потерь или выигрышей. «Можно играть в покер, – пишет французский экономист Морис Алле, – даже с гораздо более сильным соперником, если удовольствие от авантюрного хода, результаты которого отклоняются от среднего исхода, достаточно сильно, чтобы компенсировать вероятную потерю» [Алле 1994: 222].
- Фрейминг действия – усиливает убедительность позиции риск-бенефициаров, побуждая риск-аутсайдеров к действиям в его интересах.
- Фрейминг спорного вопроса – формирование социальной значимости проблемы риска для мобилизации риск-потребителей в интересах риск-производителей.

При этом, как установили С. Хилгартнер и Ч. Боск, определение того или иного риска как социальной проблемы исходит из интересов господствующих политических и экономических групп. Если аттестация проблемы в политической повестке дня как рискованной, опасной, угрожающей будет невыигрышно для правящих элит, то, скорее всего, данные риск-рефлексии в публичном дискурсе будут заблокированы [Хилгартнер 2000: 43].

П. Ибарра и Дж. Китсюз определяют данные «контрриторические стратегии» как противодействие номинированию той или иной ситуации как рискогенной [Ibarra, Kitsuse 2003].

Опираясь на их подход и исследования И. Г. Ясавеева [Ясавеев 2006], выделяются рефлексивные стратегии:

- сочувствующая контрриторика, которая полностью или частично признает угрожающий статус ситуации, но блокирует требования ее исправления. Она, в свою очередь, состоит из стратегий *натурализации, затфат, декларации бессилия, перспективизации и критики тактики*.
- несочувствующая контрриторика, не принимающая ни оценку ситуации как опасной, ни предлагаемые меры для ее исправления. К ней относятся стратегии *антитипизации, опровергающих историй, неискренности и истерии*.

Стратегии программирования риск-рефлексий доминирующими риск-производителями для продвижения своих интересов можно описать с помощью теоретической модели Ричарда Бэндлера и Джона Гриндера, в которой выделены следующие механизмы социального конструирования «скудной и выхолощенной модели» мира:

Обобщение – процесс отрыва индивидуальных моделей восприятия риска от исходного опыта рискованного поведения. Суть в том, что одно и то же правило поведения в ситуации угрозы, в зависимости от политического, социального и исторического контекста и времени, может быть полезным, или, напротив, вредным. Соотнесенность с прошлым опытом

политически селективно определяется риск-производителями принудительного регулирования рисков в разных сферах социума.

Второй механизм — вычеркивание, процесс, позволяющий избирательно обращать внимание на одни риски и угрозы в социальном опыте, исключая рассмотрение других. Вычеркивание «оптически» уменьшает восприятие рисков до тех параметров, с которыми, по нашим ощущениям, мы можем справиться.

Третий механизм, искажение — процесс, позволяющий определенным образом смещать восприятие данных об угрозах и опасностях. Например, политические и социальные вымыслы, продуцируемые риск-бенефициарами, позволяют нам подготовиться к событию, могущему произойти, до того, как он произойдет. Обобщения или ожидания человека отфильтровывают и искажают его опыт, чтобы сделать его совместимым с этими ожиданиями [Бэндлер 2017].

Это позволяет интерпретировать ситуацию угрозы таким образом, что интересы риск-бенефициаров и риск-аутсайдеров приводятся к общему знаменателю, при котором урон, понесенный потребителем риска в связи с принятием рискованных решений, будет представлен как минимальный, а достижение политической цели любой ценой становится самостоятельным фактором, оторванным от реальных опасностей.

Таким образом, «навязывание» нужного восприятия рисков и угроз, используя удачное выражение Й. Шумпетера (правда, высказанное им относительно экономических и социальных процессов), «вынуждает отдельных людей и социальные группы вести себя определенным образом, хотя бы они этого или не хотят, вынуждает, разумеется, не путем лишения их свободы выбора, но путем формирования менталитета, ответственного за этот выбор, и путем сужения перечня возможностей, из которых этот выбор осуществляется» [Шумпетер 2005: 112]. Тем самым особые выгоды

предоставляются «политическим рантье», специализирующимся на превращении угроз и опасностей в выгодный политический и финансовый товар.

Литература

1. Алейников А. В., Мальцева Д. А. Конфликтная политизация риск-рефлексий в условиях коронакризиса // Мозаичное поле мировой и российской публичной политики. Политическая наука: Ежегодник 2020–2021. Российская Ассоциация политической науки; Томский государственный университет. Томск, 2021. С. 171–189.
2. Алле М. Поведение рационального человека в условиях риска: критика постулатов и аксиом американской школы // Thesis. 1994. № 5. С. 217–241.
3. Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 381 с.
4. Бэндлер Р., Гриндер Д. Структура магии. Москва: АСТ, 2017. 445 с.
5. Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социологос: общество и сферы смысла. М.: Прогресс, 1991. С. 39–50.
6. Вахштайн В. Социология повседневности и теория фреймов. Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. 334 с.
7. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS 1994. Вып. 5. С. 107–134.
8. Гофман И. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. М.: Институт социологии РАН: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 937 с.
9. Дуглас М. Риск как судебный механизм // Thesis. 1994. № 5. С. 242–276.
10. Дуткевич П., Казаринова Д. Б. Страх как политика // Полис. Политические исследования. 2017. № 4. С. 8–21.
11. Ефременко Д. В. Миропорядок Z // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. № 3. С. 12–30.

12. Кравченко С. А. Сосуществование рискофобии и рискофилии – проявление «нормальной аномии» // Социологические исследования. 2017. № 2. С. 3–13.
13. Кузнецов С. П. Хаос: сценарий Фейгенбаума и его обобщения // Империя Математики. 2000. Т. 1. № 1. 24–39.
14. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2011. 793 с.
15. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, 2006. 873 с.
16. Модели управления конфликтами и рисками. Воронеж: Научная книга, 2008. 497 с.
17. Павловский Г. О. Ироническая империя. Риск, шанс и догмы Системы РФ. М.: Европа, 2019. 380 с.
18. Пономарев Н. Ф. Стратегии и технологии медиалегитимации власти. Пермь: Перм. гос. универс. 2010. 192 с.
19. Робин К. Страх. История политической идеи. М.: Территория будущего, Прогресс-Традиция, 2007. 363 с.
20. Рубинштейн А. Я. Элементы общей теории изъятий смешанной экономики // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. № 1. С. 71–102.
21. Соловьев А. И. Политическая повестка правительства, или зачем государству общество // Полис. Политические исследования. 2019. № 4. С. 8–25.
22. Хилгартнер С., Боск Ч. Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен // Средства массовой коммуникации и социальные проблемы: Хрестоматия Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2000. 222 с.
23. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2008. 664 с.
24. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 2005. 540 с.
25. Яницкий О. Н. «Критический случай»: социальный порядок в «обществе риска» // Социологическое обозрение. 2002. № 2. С. 86–99.
26. Яноу Д., ван Хульст М. Фреймы политического: от фрейм-анализа к анализу фреймирования // Социологическое обозрение. 2011. № 1–2. С. 87–113.

27. Ясавеев И. Г. Конструирование «не-проблем»: стратегии депроблематизации ситуаций // Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. № 1. С. 91—102.

28. Benford R. D. An insider's critique of the social movement framing perspective // Sociological Inquiry. 1997. № 67. P. 409—430.

29. Carpentier N. The Discursive-Material Knot: Cyprus in Conflict and Community Media Participation. N. Y.: Peter Lang. 2017. 472 p.

30. Crozier M. The Bureaucratic Phenomenon. New York: Oxford University Press, 1965. 320 p.

31. Hallahan K. Seven models of framing: Implications for public relations // Journal of Public Relations Research. 1999. No. 3. P. 205—242.

32. Ibarra P. R., Kitsuse J. I. Claims-making discourse and vernacular resources // Challenges and choices: constructionist perspectives on social problems/Ed. by G. Miller, J. A. Holstein. Hawthorne, N. Y.: Aldine de Gruyter, 2003. P. 17—50.

33. Johansen R. Get There Early: Sensing the future to compete in the present. San Francisco, Calif.: Berrett-Koehler Publishers, 2007. 200 p.

34. Kuran T. Private truths, public lies: The social consequences of preference falsification. Harvard University Press, 1995. 423 p.

ГЛАВА 6. СТРАТЕГИИ КОММУНИКАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Коммуникативное взаимодействие является не только одной из основных функций любой организации, но и ключевым признаком её существования. В то же время эффективное управление коммуникациями считается залогом высокой продуктивности любого социального института. Коммуникативный менеджмент — это системно организованная деятельность по оптимизации передачи информации как между её участниками, так и с представителями внешней среды.

Термин «коммуникация» происходит от лат. «communis» — общее: передающий информацию пытается установить «общность» с получающим информацию. Основные различия коммуникаций заключаются в их структурных и процессуальных характеристиках [Викулова 2011: 32].

Д. П. Гавра рассматривает коммуникации в широком смысле слова как процессы социального взаимодействия, взятые в их знаковом контексте. Отсюда коммуникация может быть определена как передача не просто информации, а значения или смысла с помощью символов [Гавра 2011: 28].

В процессе взаимодействия друг с другом люди, как правило, преследуют конкретные цели. К основным целям коммуникации можно отнести следующее [Сафина, 2015: 14]:

- Обеспечение эффективного обмена информацией между субъектами и объектами управления;
- Совершенствование межличностных отношений в процессе обмена информацией;
- Создание информационных каналов для обмена сообщениями между отдельными сотрудниками и группами;
- Регулирование и рационализация информационных потоков в рамках организации и за ее пределами;
- Формирование умений и навыков для успешной социальной интеграции и профессиональной реализации;
- Формирование отношения к себе, другим людям, обществу в целом;
- Обмен деятельностью, инновационными приемами, средствами и технологиями;
- Динамика мотивации поведения;
- Обмен эмоциями.

В организации коммуникации выполняют следующие функции:

- Информативная (передача сообщений);
- Мотивационная (побуждение сотрудников к выполнению задач, связанных с их компетенцией);
- Контрольная (регулирование поведения сотрудников);
- Экспрессивная (эмоциональное выражение чувств и способность удовлетворения социальных потребностей);

В коммуникации существуют следующие классификации:

- По способам восприятия информации;
- По субъекту и объекту взаимодействия.

Основная сложность в повышении эффективности коммуникационного взаимодействия внутри организации заключается не столько в обеспечении беспрепятственной передачи информационных потоков и определении

оптимальных каналов, сколько в формировании общей коммуникативной компетентности, позволяющей работать всем элементам системы относительно долгосрочно и автономно. Коммуникационные знания, умения и способности коллектива оказывают существенное влияние на характер, скорость и качество передаваемых сообщений, что позволяет сформировать целостную коммуникативную структуру. Безусловно, в иерархизированных предприятиях на первый план выходят так называемые формальные и неформальные коммуникационные связи. Слово «формальный» описывает приверженность набору общепринятых требований к поведению. Таким образом, формальная коммуникация состоит из правил и норм, установленных организацией для регулирования коммуникативного поведения. Коммуникационное правило — это стандарт или директива, определяющая, как происходит коммуникация внутри организации.

Коммуникационные нормы, с другой стороны, представляют собой стандарты или модели общения, которые считаются типичными для данного общества, то есть с учётом культурных и ценностных особенностей региона. Там, где правила обсуждаются открыто, нормы общения могут усваиваться путем активного наблюдения за коммуникативным поведением изнутри, без директивного воздействия. Поскольку внутренние нормативные документы, регламентирующие все формальные способы взаимодействия, обычно игнорируются сотрудниками, одним из наиболее распространенных способов усвоения коммуникативной нормы в организации является непреднамеренное её нарушение [Tourish, Robson 2016: 715]. То есть «формальная» и «неформальная» стороны дополняют друг друга уже на этапе знакомства сотрудника с коммуникативными и поведенческими правилами.

Очевидно, что понимание того, как формальная коммуникация функционирует внутри организации, крайне важно

для создания прочной и эффективной коммуникационной структуры. Раскрыть особенности этой сложной системы можно, изучив два направления, в которых происходит коммуникация внутри организации: вертикальное (нисходящее, восходящее) и горизонтальное.

Внутренние коммуникации — это важный стратегический инструмент, который позволяет доносить правильные смыслы: от одного сотрудника к другому, от компании к сотрудникам, от руководителя к подчиненным. Последний тип коммуникации — между людьми, стоящими на разных ступенях организационной иерархии, называется вертикальной коммуникацией. Вертикальные коммуникации подразделяются на восходящие и нисходящие. Нисходящие коммуникации связаны с передачей смыслов сверху вниз, под руководством и контролем исполнения сотрудниками своих обязанностей. Восходящие коммуникации — завязаны на коммуникации снизу вверх, от подчиненных к руководителям и позволяют получать качественную обратную связь от сотрудников.

Существует два основных типа нисходящей коммуникации:

1. Информационная. Содержит сообщения о текущем/будущем статусе конкретных аспектов организации, изменениях в организационной политике, недавних административных решениях в стандартных операционных процедурах.

2. Директивная. Содержит сообщения, связанные с постановкой конкретных задач, инструкций и сроков. Директивный тип нисходящей коммуникационной стратегии является основным в иерархизированной управленческой структуре, однако необходимо учитывать и определённую самостоятельность на местах в исполнении поручений.

Коммуникации внутри компании — это, в первую очередь, построение прочной системы связей. Это процесс двустороннего общения: руководству компании важно донести смыслы, но не менее важно получить мнение сотрудников

и выстроить настоящий диалог. Вертикальные коммуникации позволяют создать общий контекст и дают возможность всем сотрудникам находиться в общей среде. Когда люди на всех иерархических уровнях организации находятся в синхроне друг с другом, компания начинает работать продуктивнее.

Существует набор базовых ценностей, без которых невозможна качественная работа — это доверие, уважение и честность. Доверие означает, что отношения нужно строить, опираясь на лучшие намерения и качества людей, исключая подозрительность и избыточный контроль [Tourish, Robson 2016: 712]. Уважение подразумевает признание ценности, вклада и мнения каждого отдельного члена коллектива. Честность — соответствие дел словам, недопуск лицемерия и двойных стандартов. Кроме того, в построении стратегии управления коммуникациями в компании необходимо учитывать и информационный баланс [Hirokawa 1979: 91]. Так многими руководителями передача информации воспринимается как ущерб, потеря ресурса, что ведёт за собой дозирование или утаивание важных содержательных смыслов, без которых исполнитель просто не сможет выполнить нужный объём работы качественно и в установленные сроки.

В процессе вертикальной коммуникации руководителям важно выступать в роли поддержки и фасилитатора — помогать сотрудникам достигать целей — общих и индивидуальных; возвращать активы — увеличивать вовлеченность сотрудников и формировать позитивную культуру. А также давать сотрудникам понимание, для чего они работают, помогать фокусироваться на важных направлениях, удерживать сотрудников в компании и контролировать реакции на внутренние изменения на рынке.

Успешная практика нисходящей коммуникации напрямую связана с отправителем сообщения. Очевидно, что источник сообщения оказывает сильное влияние на то, как люди интерпретируют важность информации. Например, полученное

сообщение от генерального директора организации получит больший вес, чем сообщение от менеджера среднего звена. Кроме того, при кодировании сообщения для передачи через организационную иерархию необходимо подумать о наиболее целесообразном способе доставки самого сообщения, подобрать оптимальный канал. Чем надёжнее и короче путь, тем меньше искажений.

Ценности так же передаются через вертикальные коммуникации. Руководство, как правило, открыто информирует сотрудников о целях, ценностях, миссии, философии и стратегии развития компании. Сообщает не только о достижениях, но и о проблемах внутри, мотивируя это тем, что сотрудники должны быть информированы об актуальном состоянии организации, ее коммуникационном климате. Необходима и обратная связь от сотрудников — мнения, суждения, оценки, предложения, инициативы, сигналы о проблемах — все это должно идти к руководству, чтобы держать руку на пульсе состояния коллектива и давать адекватную обратную связь [Hirokawa 1979: 89].

Восходящая вертикальная коммуникация делится на несколько типов:

1. Персональная информация. Любой сотрудник должен иметь возможность личного контакта с руководителем или менеджером, принимающим решение. Речь идёт в большей степени о проблемах и темах, не касающихся напрямую профессиональных обязанностей, но так или иначе оказывающих влияние на работу сотрудника [Hirokawa 1979: 90]. Личные сложности, проблемы со здоровьем, семейные трудности, праздники и пр. Таким образом, устанавливаются более прочные связи, сотрудник дорожит своим местом в организации и чувствует себя частью единой команды.

2. Профессиональная информация. Коммуникация, инициируемая подчинённым, связанная с проблемами осуществления собственных профессиональных обязанностей.

Необходимость выделения дополнительного финансирования, времени или других ресурсов, прочие сложности, которые препятствуют продуктивной работе, включая комфорт и техническое оснащение рабочего места. Сотрудник вправе просить, например, кондиционер или калорифер, обращаясь напрямую к руководителю, что также влияет на благоприятную коммуникационную атмосферу.

3. Информация о коллегах. Зачастую руководители или учредители крупных организаций в силу объёма работы не способны контролировать все аспекты деятельности их подчинённых. В данном случае, учитывая моральную сторону проблемы, необходимо наладить каналы связи между менеджером и исполнителем, в рамках которых будет возможность своевременно передать информацию о коллегах. Сообщить о грядущем юбилее, особых профессиональных достижениях или о проступках, грубых нарушениях и пр.

Кроме того, для стратегического подхода к выстраиванию восходящей вертикальной коммуникации необходимо учитывать и множество других факторов, которые можно сгруппировать по принципу «короткая дистанция». «Сотрудник должен осознавать, что всегда имеет возможность беспрепятственно и быстро обратиться к руководителю по тому или иному вопросу: будь то разъяснение задачи, обсуждение заработной платы или просьба о дополнительном отгуле» [Tourish, Robson 2016: 715].

Горизонтальная или латеральная коммуникация состоит из сообщений, которые передаются другим лицам, находящимся на той же ступени организационной иерархии. Иногда эти линии связи прочно закреплены в организационной иерархической структуре (устав, другие нормативные документы), но чаще всего отношения между равностатусными сотрудниками регламентированы только в этическом контексте.

Однако в стратегическом менеджменте горизонтальные коммуникационные связи значат не меньше, чем вертикальные.

Классическим примером является схема «цепочки» А. Файоля. В ней социолог представляет организационную иерархию с одним главным администратором, двумя руководителями и шестью подчиненными. Трое из подчиненных работают непосредственно под началом руководителя А, а трое — под началом руководителя Б. Согласно Файолю, если подчиненному 3А необходимо сообщить что-то подчиненному 1Б, то сообщение должно было бы подняться вверх по иерархии, а затем вернуться вниз. В этом случае подчиненный 3А передаст сообщение руководителю А, который направит его главному администратору. Затем главный администратор передаст сообщение руководителю Б, который, наконец, передаст сообщение подчиненному 1Б. Несмотря на явное преимущество горизонтальной коммуникации, вариант с более медленной и тяжёлой вертикальной передачей сообщения должен оставаться валидным и использоваться в кризисных ситуациях в качестве альтернативы. Кроме того, сегодня существуют все необходимые инструменты для запуска параллельных цепочек: горизонтально коллегам и вверх руководителям, что позволяет контролировать все коммуникативные процессы.

Основными функциями горизонтальных коммуникационных связей являются:

1. Функция координации задач. Как сотрудники внутри отдела, так и отделы внутри организации координируют свою деятельность относительно поставленных задач, работая на одну конечную цель. Крайне важным является понимание того, как функционирование одной структурной единицы влияет на продуктивность другой. Такая взаимозависимость должна быть максимально прозрачна и понятна.

2. Функция деления обязанностей. Коллективная работа над проектом — основа принципа распределения функционала между сотрудниками. Каждый юнит отвечает за собственный объём, координирует действия по-горизонтали, информирует по-вертикали.

3. Функция профилактики конфликтов. Коллективная ответственность — это не только причина возникновения конфликтов, но и способ управления ими. Движение к общему результату позволяет довольно быстро и плавно деэскалировать напряжение между сотрудниками, поскольку нет прямого воздействия на принятие кадровых решений. Иными словами, в отсутствие иерархии все исполнители находятся в равных условиях и не могут уволить или исключить друг друга из проекта.

Тем не менее, есть несколько существенных проблем, связанных с латеральными связями, от решения которых напрямую зависит успех реализации общего стратегического плана. Первая проблема, которая может негативно повлиять на горизонтальную коммуникацию внутри организации, возникает в результате отсутствия структуры вознаграждений. Классические теории коммуникационного менеджмента не признавали горизонтальную коммуникацию в качестве существенно значимой функции, не говоря уже о том, что её следует открыто поощрять.

Вторая проблема связана с межведомственной конкуренцией. В рамках выполнения собственного объёма работ сотрудники так или иначе включаются в процесс соперничества, персонально или между отделами. Иногда он вполне контролируемый, иницируется руководством или самими сотрудниками намеренно для стимулирования работы и эмоциональной разрядки. Но негативный аспект здесь тоже присутствует. Во-первых, соперничество может привести к конфликтам. Во-вторых, по мнению американского социолога Р. Хирокава, чувство конкуренции часто «заставляет [членов организации] накапливать информацию вместо того, чтобы делиться ею со своими коллегами» [Hirokawa 1979: 88], что, разумеется, приводит к застою и искусственному торможению всех рабочих процессов.

Третья проблема — конфликты. Наиболее распространенной причиной межведомственных конфликтов является

восприятие несовместимых целей. Например, если отдел разработки программного обеспечения хочет потратить время на устранение недостатков нового продукта, а отдел маркетинга намерен немедленно передать продукт в руки клиентов, вы неминуемо столкнетесь с конфликтом. Кроме того, когда сотрудники воспринимают конфликт как изначально негативное явление, они с большей вероятностью будут сопротивляться любым контактам, которые могут к нему привести.

В процессе выстраивания стратегии коммуникационного менеджмента необходимо особое место уделить конфликтам, как неотъемлемой части любого социального взаимодействия в организации. В современной конфликтологии всё чаще используют универсальное «управление конфликтом», вместо жёсткого «разрешение конфликта», что позволяет более гибко подходить к сложным межличностным противоречиям. Для этого, в первую очередь, менеджер уделяет особое внимание конструктивным функциям конфликта, таким как:

- эмоциональная разрядка;
- предотвращение более значительных и разрушительных конфликтов;
- познание себя и собственных возможностей;
- получение информации о сопернике;
- конфликт стимулирует личностное развитие;
- конфликт указывает на проблему и позволяет её осознать;
- конфликты стимулируют раскрытие творческого потенциала;
- совместное преодоление конфликтной ситуации ведёт к сплочению коллектива.

Последняя проблема, которая может негативно повлиять на горизонтальную коммуникацию, возникает в результате неадекватного латерального понимания. Латеральное понимание — это степень, в которой отдельные сотрудники организации понимают цели и функции того, что делают

отдельные сотрудники в других отделах организации. Как писали Макклелланд и Уилмот, «сотрудники часто не понимают целей, обязанностей и возможностей других отделов... это очевидно даже на высших уровнях» [McClelland, Wilmot 1990: 166]. Отсутствие «горизонтального» знания распределения функционала между структурными единицами ведёт к дублированию работы, неправильному распределению временных и других ресурсов, а также принятию деструктивных решений.

Другим направлением, формирующим стратегии коммуникационного менеджмента, является внутренний PR — часть корпоративной культуры, построенной в рамках единой концепции политики управления персоналом, объединяющей коллектив в достижении поставленных перед компанией целей. А. В. Пеша включает в корпоративную культуру следующие элементы: организационный регламент, управление изменениями, миссию и видение, эффективный подбор, адаптацию и интеграцию, лояльность, социально-психологический климат [Пеша 2017].

Одним из ключевых инструментов внутреннего PR является система социальной поддержки, которая включает в себя обеспечение социальных услуг (забота о здоровье подчиненных, отчисление в Пенсионный фонд и пр.) и выплат (оплата отпуска, материальная помощь и пр.).

Внутренние связи предприятий с общественностью также состоят из двух измерений: вертикального и горизонтального. Вертикальные относятся к отношениям между начальниками и подчиненными, а горизонтальные отношения — к взаимодействию между акционерами, отделами и сотрудниками одного уровня. Следовательно, чтобы повысить потенциал развития предприятия, необходимо сбалансировать сложные отношения на всех уровнях внутри предприятия для достижения консенсуса и объединения усилия для решения общих задач.

Какие аспекты необходимы для консолидации внутренних связей с общественностью? Во-первых, координация внутренних отношений является основой стабилизации конкурентоспособности предприятий. К примеру, в 2021 году на репутацию China Life в отрасли повлияли внутренние проблемы управления. Сотрудники компании сообщали о нарушениях, таких как мошеннические выплаты страхового покрытия и «раздувание рабочей силы» руководителями с реальными именами на платформах Weibo, Douyin, Toutiao и других, что, несомненно, затронуло ключевой сегмент внутренних отношений компании [Kuznetsova, Goryacheva 2015: 300]. Кризис существует в двух аспектах: внутреннего управления предприятием и координации вертикальных отношений.

Во-вторых, решение внутренних потребностей является основным ключом к ускорению развития предприятия. Координация внутренних связей предприятия является краеугольным камнем стабильности организации, решение потребностей сотрудников является первоочередной задачей стабилизации состояния корпоративных отношений. Потребности сотрудников в основном отражаются в пяти аспектах: обращение, безопасность, социальное взаимодействие, уважение и ценность. Будущее предприятия напрямую связано с будущим его работников, улавливая их основные потребности, оно может сохранить свою конкурентоспособность и создать благоприятную среду для наиболее эффективного функционирования предприятия.

В-третьих, развитие внутренней осведомленности сотрудников относительно деятельности в области связей с общественностью. Распространение имиджа компании не является односторонней передачей ценностей сверху вниз, оно дает возможность сотрудникам говорить от своего имени и от имени организации. Благодаря полному доступу любого сотрудника к информации о транслируемых ценно-

стях, миссии и видении компании, растёт общая лояльность, вовлечённость.

Управление внутренними коммуникациями в зависимости от организационной структуры может осуществляться отделом коммуникаций, отделом маркетинга, отделом PR, в крупных корпорациях отдел внутренних коммуникаций зачастую выделен в отдельную структурную единицу, находящуюся в «ведомстве» одного из упомянутых выше отделов.

Эффективное управление коммуникациями внутри организации строится с учетом следующих аспектов:

1. Открытость и объективность коммуникации, достижение максимальной прозрачности во взаимодействии.

2. Простой и понятный язык. Излишним будет как обилие терминов и сложной лексики, так и употребление жаргонизмов или разговорных выражений.

3. Регулярность, а не ситуативный характер коммуникации.

4. Двусторонний характер диалога. Зачастую внутренняя коммуникация организована «сверху вниз» и тем самым становится де-факто односторонней, не оставляя пространства для необходимой обратной связи и обмена мнениями.

5. Понимание аудитории и внимание к ней. Коммуникация не просто должна «вовлекать в процесс» представителей внутренней аудитории, но, прежде всего, четко реагировать на их запросы, потребности и проблемы, затрагивая реально значимые аспекты деятельности.

6. Доступность. В качестве средства коммуникации должно быть выбрано наиболее доступное и удобное для большинства представителей внутренней аудитории.

Таким образом, учитывая то, что «философия массовой культуры — философия материального успеха» («the philosophy of mass culture is a philosophy of material success»), важно контролировать систему внутреннего PR, осуществлять мониторинг и корректировку комплекса корпоративного менеджмента [Kuznetsova, Goryacheva 2015: 301].

Использование разнообразных инструментов и мероприятий внутреннего PR обеспечат мотивированность сотрудников и эффективность работы предприятия. Внутренние коммуникации организации, наравне с иными организационными процессами, прежде всего, требуют тщательного менеджмента и data-driven подхода с обратной связью, обеспечивающего как общую гибкость стратегии, так и основанное на контроле метрик целеполагания.

Завершающим элементом в системе построения стратегии коммуникационного менеджмента является внешний PR. Внешние коммуникации организации — это взаимодействия компании с контрагентами и контактными аудиториями, обычно состоит из нескольких ключевых направлений:

1. Работа со СМИ. Средства массовой информации оказывают колоссальное влияние на деятельность компании: воздействуют на формирование имиджа предприятия, могут помочь в информировании целевых групп общественности относительно выхода нового продукта или достижений организации, увеличить узнаваемость бренда и повлиять на повышение лояльности.

2. Взаимодействие с потребителем (CRM). Основа коммуникационной стратегии любой компании, которая включает в себя все касания производных компании с реальным или потенциальным потребителем. В первую очередь это интегрированные маркетинговые коммуникации, направленные на создание прочной связи с целевой аудиторией, а также каналы обратной связи.

3. Работа с поставщиками, конкурентами, органами государственной власти. Коммуникации, которые обеспечивают стабильное и безостановочное функционирование организации, позволяют законно и безопасно существовать на рынке.

Таким образом, выстраивание стратегии коммуникационного менеджмента является системообразующим процессом,

от которого напрямую зависят механизмы регулирования экономической, социальной и политической сфер жизни общества. Несмотря на то что основные принципы управления информацией остаются актуальными уже больше 40 лет, изменения в медиасфере, каналах коммуникации, скорости взаимодействия стимулируют непрерывное обновление теоретических и практических знаний в области коммуникационного менеджмента.

Литература

1. Castells M. *The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society*. Second edition. Oxford, 2010.
2. Corman S. R., Scott C. R. Perceived networks, activity foci, and observable communication in social collectives // *Communication Theory*. 1994. Т. 4. № 3. С. 171–190.
3. Harris T. E., Nelson M. D. *Applied organizational communication: Theory and practice in a global environment*. Routledge, 2007.
4. Hirokawa R. Y. Communication and the managerial function: Some suggestions for improving organizational communication // *Communication*, 8 (1). 1979. С. 83–95.
5. Kuznetsova E. V., Goryacheva O. N., Patenko G. R. Phenomenon of mass culture: problems and ontroversies // *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 2015. V. 6. I. 4 S2 July. P. 296–301.
6. Knapp M. *Nonverbal Communication in Human Interaction*, 7th ed. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, 2010.
7. McClelland V. A., Wilmot R. E. Improve lateral communication // *Personnel Journal*. 1990.
8. Tourish D., Robson P. Sensemaking and the distortion of critical upward communication in organizations // *Journal of Management Studies*. 2006. Т. 43. № 4. С. 711–730.
9. Викулова Л. Г. *Основы теории коммуникации. Практикум*. М., 2011.

10. Гавра Д. П. Теория коммуникации. СПб., 2011.
11. Лалу Ф. Открывая организации будущего / Ф. Лалу; пер. с англ. Е. Голуб. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
12. Мальковская И. А. Знак коммуникации: Дискурсивные матрицы. М., 2008.
13. Пеша А. В. Взаимосвязь корпоративной культуры и внутреннего маркетинга персонала организаций сферы обслуживания// Наукovedение. 2017. Т. 9. № 6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://paukovedenie.ru> (дата обращения 10.04.2022).
14. Сафина А. А. Коммуникационный менеджмент: учеб. пособие / А. А. Сафина, Г. Никифорова, А. Э. Устинов. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015.

ГЛАВА 7. «ФОРСАЙТ УЧАСТИЯ» КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКО- КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО

Для описания методологии развития представлений о будущем существует большое разнообразие понятий, среди которых такие, как футурология, исследования будущего, долгосрочное планирование, стратегический менеджмент. Со временем и в рамках различных научных дисциплин определения и популярность этих понятий существенным образом отличались друг от друга. Концепт Форсайт, получивший сейчас достаточно широкую популярность и покрывающий наиболее широкий спектр методов исследования будущего, представляется наиболее предпочтительным среди них. Согласно Coates [1985], технология Форсайт представляет собой обширный набор качественных и количественных средств мониторинга признаков и индикаторов возникающих трендов развития науки, технологий и инноваций, который

можно наилучшим образом использовать для перспективной разработки публичной политики. Вместе с тем «Форсайт не может определять публичную политику, но он может сделать эту политику более гармоничной, гибкой и относительно стабильной в условиях стремительных изменений» [Coates 1985: 343]. Исследования на основе технологии Форсайта могут проводиться с использованием широкого круга методов, каждый из которых может быть приемлемым для различных целей и в различных контекстах. Большинство этих методов не являются взаимоисключающими и могут комбинироваться различным образом. Но, при всём разнообразии методов Форсайта, глубинными источниками познания будущего в них являются интуиция экспертов, каузальная логика и обширная информация о прошлом, настоящем и воображаемом, прогнозируемом будущем.

Развитие научных исследований будущего датируется периодом окончания Второй мировой войны и объясняется политическими и социально-экономическими соображениями разработки форм планирования, необходимых для послевоенного восстановления экономики. Вместе с тем начавшаяся холодная война между странами Запада и Советским Союзом определяла специфичность форм таких исследований, в значительной степени определявших их военно-технологическим контекстом. Так, первый центр исследований будущего, RAND-Corporation, созданный в 1948 году, имел чисто военную направленность своих разработок. Далее подобного рода исследовательские центры создавались до начала 1960-х годов не только в США, но и в Западной Европе, в результате чего профессионализация исследований будущего в тот период оставалась практически незамеченной по соображениям военной секретности. Однако с началом разработки гражданских проектов, общественное осознание значимости исследований будущего резко выросло и сопровождалось ростом числа футуристических публикаций. Наиболее яркими примерами

таких исследований являются публикации о Дельфи-методе [Helmer 1967], о сценариях будущего [Kahn, Wiener 1967], об общем обосновании исследований будущего [Flechtheim 1966; Jouvenel 1964]. Именно в этот период были введены в научный оборот понятия «исследования будущего» (futures, futuribles) и футурология (futurology). Хотя Осип Флехтхайм ввел термин футурология еще в 1940-е годы, он не был уверен в научном статусе этого понятия и определял футурологические, конкретно-прогностические по своему характеру исследования в качестве общегуманистических программ будущего, в то время как Бертран де Жувенель, предложивший в 1960-е годы для обозначения исследований будущего французский термин «futuribles», заключающий в себе более сложное понятие ожидаемых и возможных альтернативных вариантов будущего и потому наиболее близкий современным смыслом разработки сценарных методов исследования будущего в рамках современного понятия «futures» (во множественном числе).

В 1970—1980-е годы шел процесс развития новых инструментов, методов и концептуальных подходов к исследованию будущего в рамках технологического прогнозирования и стратегического планирования. Этот этап развития исследования будущего обозначают в качестве фазы глобальной институционализации и индустриализации таких исследований, где развивались, наряду с использованием методологии технологического прогнозирования, и методы сценарного планирования и нормативных исследований будущего, рост которых «в качестве разработки глобальных институциональных норм был стимулирован двумя важными событиями: (а) пессимистическим аналитическим докладом “Пределы роста” и (б) нефтяным кризисом 1973 года» [Son 2015: 126]. Действительно, в широко известном докладе «Пределы роста» Римского клуба по проекту «Проблемы человечества» [Meadows et al. 1972] были представлены результаты ком-

пьютерного моделирования будущего, свидетельствующего о том, что неограниченный рост экономики и человеческой популяции приведет к экономическому коллапсу и исчерпанию природных ресурсов, а лишь год спустя грянул нефтяной глобальный нефтяной кризис, в результате чего прогностические парадигмы предсказания, планирования и контроля, прежде преобладавшие в исследованиях будущего, неожиданно стали вызывать сомнение относительно их эвристического потенциала [Cuhls 2003; van der Heijden et al. 2009; Sop 2015: 127]. Здесь возникает новый способ осмысления будущего и начинает развиваться парадигмальный сдвиг в направлении представлений о множественности вариантов будущего, который можно охарактеризовать как начало последовательной замены методологии прогнозирования будущего развивающейся методологией Форсайта, которая утверждается в качестве относительно самостоятельной лишь в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Вместе с тем в этот период процесс бурного роста методологии и технологии Форсайта не представлял собой на этом этапе совершенно новое явление. Разработчики технологии Форсайта восприняли многие стратегии, методы и практики из обширной к тому времени области исследований будущего, предпринимая вместе с тем попытки преодоления недостатков и узких мест теории и практики технологического прогнозирования [Grupp, Linstone 1999: 87]. По мнению Слотера, Форсайт используется для «прорыва к будущему всеми наличными средствами, развивая представления об опциях будущего и затем проводя выбор между ними» [Slaughter 1995: 1]. В свою очередь Кульс утверждает, что исследовательская деятельность в рамках Форсайта инициирует и структурирует дебаты о будущем, вскрывает необходимые, вероятные, возможные и (не)желаемые варианты будущего, при этом делая возможным устремленное в будущее размышление и соответствующий процесс принятия решений [Cuhls 2015].

Таким образом, Форсайт отличается от технологического прогнозирования и других форм исследования будущего согласно его очевидным средствам и целям, это (а) новое определение его исследовательской области и новых сфер его применения, (б) восприятие и развитие существующих методов прогнозирования, (в) переход от ориентации на единственный вариант будущего к его многовариантной интерпретации, (г) введение новых временных горизонтов осмысления будущего.

При этом исследователи будущего понимали, что «фокус планирования сместился с точности прогнозирования к способности реагирования на изменения» [Slaughter 1995: 82]. Важность такого понимания имеет два значения: во-первых, такой отход от попыток обретения точности прогнозирования обеспечивает пространство для множественных вариантов будущего и, во-вторых, здесь происходит смещение цели исследований будущего к обнаружению и пониманию сил и факторов, которые формируют процесс принятия решений сегодня и определяют порядок явлений в отдаленном будущем [Martin, Irvine 1989: 4]. Задача такого понимания, однако, может быть обеспечена лишь процедурным образом. Это значит, что, в отличие от прогнозирования, технология Форсайт ориентирована на интерпретацию и понимание опций будущего и проведение по ним структурированных дебатов: «практика исследований Форсайта реализуется для обретения более глубоких знаний о будущем с тем, чтобы принимаемые сегодня решения были обеспечены более основательными знаниями, чем прежде» [Culhs 2003: 97]. Как Форсайт, так и прогнозирование имеют целью изменение настоящего для обеспечения соответствия предпочитаемому будущему. Но реализуют они свое движение к этой цели по-разному. Прогнозирование, по существу, явление преимущественно технократическое, в то время как технология Форсайт в намного большей степени ориентирована на учет

и анализ социальных факторов и параметров окружающей среды даже в тех случаях, когда при этом исследуются сферы деятельности человека, основанные на развитии специфических технологий. Технология Форсайта, таким образом, концентрируется на проблемах развития научной сферы, бизнеса и политики. Но, хотя в каждой из этих областей деятельности самый процесс развития технологий может иметь важное значение, он при этом не обязательно является ключевым фактором. Исследования Форсайта концентрируются на вопросах, отображаемых акронимом STEERV, который включает в себе социальную, технологическую, экономическую, экологическую, политическую и ценностную проблематику [Loveridge 2009: 49]. Поэтому влияние факторов STEERV на исследования будущего является двояким: поскольку социально-технологический прогресс протекает в социокультурном пространстве, проблематика STEERV значима не только в настоящем, как источник информации, но она формирует также новые смысловые рамки для выработки предположений, сценариев и моделей будущего. Современная Форсайт-технология представляет собой целый комплекс инструментов и практик исследования будущего. Наиболее широко используемыми сейчас в Форсайт-исследованиях Европейского Союза являются следующие методы [Strategic Foresight: European Commission Website 2021]:

- сканирование горизонта: использование методики систематического отслеживания и сбора данных о событиях и трендах, которое предусматривает как наличное, так и перспективное картирование новых сигналов перемен;
- анализ мегатрендов: изучение и обсуждение характера сдвигов и взаимовлияния трендов, результатом которых является представление о будущем развитии и формулирование плана действий;
- создание сценариев перемен в качестве интерактивного процесса, включающего в себя интервьюирование, анализ

и моделирование, результатом которых становится представление о совокупности желаемых или не желаемых вероятных событий, которые могут произойти;

- разработку концепции желаемых перемен, результатом которой является согласованное и детальное представление о предпочтительном направлении и содержании развития и построение дорожной карты на среднесрочную перспективу с подробным перечнем мер, направленных на достижение желаемой перспективы.

Георгиу различает 5 поколений Форсайта в зависимости от его применения в различных сферах [Georghiou et al. 2008]. Первое поколение Форсайт возникает как деятельность, нацеленная на технологическое прогнозирование и ориентированная на анализ внутренней динамики технологий. Второе поколение Форсайт-проектов сочетает анализ развития технологий с развитием рынка. В третьем поколении Форсайта его рыночная перспектива усиливается включением более широкого социального измерения и вовлечением проблематики более широкого круга социальных акторов. В четвертом поколении Форсайта возникает его дистрибутивная роль в широких научно-инновационных системах, покрывающих все сферы публичной политики. Пятое поколение Форсайта определяется им как его стратегический вариант, совмещающий в себе характеристики четырех предыдущих и сочетающий их с элементами стратегического процесса принятия решений.

Сегодня едва ли можно провести четкое разграничение последних поколений Форсайта. В литературе встречаются различные характеристики четвертого и пятого поколений. В целом их связывают с ответом на ряд социально-культурных вызовов, с развитием национальных инновационных систем и межгосударственным сотрудничеством в научно-технической сфере. Таким образом, обнаруживается вполне отчетливый тренд в эволюции методов Форсайта: во-первых,

тенденция к росту сложности и абстрактности практик Форсайта в результате сдвига фокуса с исследования технологий к исследованию их широкого социального окружения; во-вторых, тенденция вовлечения в процессы принятия решений и публичной политики более широкого круга акторов. Надо полагать, что по мере возрастания сложности, повышения уровня абстрактности технологии Форсайта и вовлечения в его практики более широкого круга акторов число используемых им методов будет возрастать.

Исследователи будущего и практики Форсайта продолжают поиск более адекватных инструментов обретения знаний и конструирования содержательных образов будущего. Одним из таких направлений поиска с начала 2000-х годов является обеспечение более широкого круга перспектив формирования будущего и точек встречи со знаниями о нем за счет стимуляции партиципаторного Форсайта [Faucheux, Hue 2001] и организации практик Форсайта как партиципаторного процесса [Ropper 2009]. Каковы же причины такого поворота в развитии методологии Форсайта? «Неолиберальные механизмы современной экономики, определяющим образом основанные на стремительном характере разработки и организации всего инновационного процесса, производящего сущностно новые ценностные ориентации в обществе, сфокусированы на получении агентами рынка прибыли как фактора их выживания. В этом контексте количественные методы Форсайта, такие, например, как экстраполяция трендов, часто оказываются ненадежными. Объекты и процессы как предмет исследований будущего весьма динамичны, нестабильны и трудно предсказуемы, поэтому весьма непросто является предвидение конкретных инноваций» [Nikolova 2014: 2]. Но еще более трудной задачей является предвидение их приложений, того, как их потребители адаптируют эти приложения к своим нуждам и потребностям и каковы будут глубокие социальные последствия их встраивания

в нашу повседневную жизнь, и экспертное знание зачастую оказывается не в состоянии дать ответы на эти вопросы. Наполнение и насыщение практик Форсайта содержанием видения будущего неспециалистами, обычными гражданами, представляется необходимым шагом в процессе осмысления глубоких социальных и культурных последствий того, что в литературе получило название «организации инноваций как системного процесса» [Druker 1993: 54].

С другой стороны, стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечивает широчайший доступ ко всем областям современных знаний и создает гигантскую инфраструктуру обмена мнениями, советами и кооперации локальных, региональных, национальных и международных сообществ людей в разрешении их специфических проблем. Транс-дисциплинарный характер такого порождаемого знания и взаимодействия является чрезвычайно значимым источником развертывания прогностических перспектив, преодолевая при этом дисциплинарную «зашоренность» специалистов, и может рассматриваться в качестве существенного элемента процесса демократизации. Растущий таким образом уровень сознания членов гражданского общества является объективной предпосылкой их более глубокого участия в политических процессах — в консультировании процедур принятия решений, в выдвижении ими возражений и даже в осуществлении функций, обычно исполняемых властными органами. Это, конечно, не означает, что эта растущая на наших глазах развернутая инфраструктура информационного общества неизбежно обеспечит полноценную структуру партиципаторной демократии, в рамках которой каждый гражданин сможет иметь право голоса относительно перспектив развития будущего. Она лишь предоставляет каналы обмена мнениями и взаимодействия индивидуальных и коллективных акторов в их стремлении оказать влияние на будущее развитие социального пространства.

Суммарный эффект предлагаемых при этом стратегий, действий, взаимодействий и общественных инициатив таких акторов может поставить под сомнение точность суждений экспертов о будущем в рамках специализированных практик традиционного Форсайта в сегодняшних условиях неравновесности социальных систем. В этой ситуации неудивительно, что возникают весьма специфические публичные нарративы, направленные на изменение взаимоотношений между политическими элитами и гражданами и требующие более активного участия граждан в процессе осмысления и принятия решений относительно будущего, в результате чего разделялось бы бремя ответственности между управляемым большинством и управляющим меньшинством. Здесь усматривается как необходимость, так и возможность более широкого гражданского участия в исследовании и формировании будущего в рамках технологии Форсайта, что предполагает и необходимость, и возможность развития в нем партиципаторного подхода, который можно определить как «Форсайт участия».

Партиципаторный Форсайт, таким образом, представляет собой такой подход к интерпретации и реализации теоретических положений и практик Форсайта, который стимулирует интегрированное вовлечение широкого круга граждан в процесс исследования будущего и признает такие порождаемые в этом процессе его артефакты (образы будущего и устремления граждан) в качестве важнейших факторов разработки и имплементации технологических и социальных инноваций и формирования политики будущего в целом. Одним из способов реализации партиципаторного подхода в рамках технологии Форсайта являются «два диалога»: экспертный и социальный [Nikolova 2014]. Экспертный диалог, или диалог экспертов, нацелен на междисциплинарное исследовательское взаимодействие для преодоления всё растущей фрагментации научного знания. Проблема и необходимость

формирования такого междисциплинарного дискурса объясняется всё более очевидной утратой сколь-нибудь единого языка науки, в результате чего утрачивается и способность адекватной коммуникации между специализированными сферами научного знания. В то же время социальный диалог предполагает включение всех прямо или косвенно заинтересованных членов общества в делиберативный процесс осмысления будущего. Целью при этом является не предсказание будущего, а достижение лучшего понимания возможных и предпочтительных вариантов будущего. При этом возможны и злоупотребления властью, так как каждый образ будущего может потенциально служить интересам той или иной идеологической конструкции, но такие образы будущего могут быть также и способом преодоления утратившей доверие политики. Вместе с тем «вследствие дефицита знаний в рамках государства, экспертного и делового сообщества, граждане могут информировать элиты, так как знание распределено на различных уровнях социальной иерархии и вовсе не сконцентрировано лишь на ее верхних уровнях. Поэтому и сами потребители разрабатываемых и реализуемых политических курсов должны быть встроены в процессы их обсуждения и планирования. Вот почему следует стимулировать социальные сети к восприятию сигналов, исходящих из различных уровней, сфер, сторон социальной реальности, и организации дискурсов для преодоления существующих коммуникативных барьеров» [Nikolova 2014: 7].

Конкретными примерами разработки и реализации программ партиципаторного Форсайта являются финансируемые Европейским Союзом проекты “CUMILACT” (проводимый с 2015 по 2018 год и посвященный развитию представлений граждан о будущих устойчивых сообществах) и “BioComp-pass” (осуществлявшийся с 2017 по 2020 год и вовлекший граждан в разработку сценария по созданию музея природы, ориентированного на разработку представлений о переходе

к будущей устойчивой биоэкономике). Анализ результатов этих примеров реализации таких проектов партиципаторного Форсайта позволил ответить на главный вопрос о том, каковы обнаруженные в них специфические качества представлений и артефактов граждан о будущем. «Во-первых, предлагаемые гражданами представления о будущем носили холистический, целостный характер. Мы наблюдали тот факт, что они при этом свободно пересекали институциональные рамки и демонстрировали транс-дисциплинарность в своем поиске определяющих вызовов и предложений их решений. Во-вторых, граждане в их представлениях свободно перемещались в масштабах анализа: они обнаруживали глубокую вовлеченность в социокультурный контекст и вместе с тем обращались к рассмотрению глобальных долгосрочных целей. В-третьих, граждане, будучи не ограничены рамками конкретных политических курсов, в которых развивается дискурс экспертов и политиков, демонстрировали видение новых перспектив, бросающих вызов узкогрупповой политике и когнитивной предвзятости, которые препятствуют открытому креативному мышлению» [Rosa et al. 2021: 8].

Несмотря на очевидную плодотворность и креативный характер этих и им подобных примеров реализации проектов партиципаторного Форсайта, «идея о том, что проблематика будущего слишком важна и сложна для того, чтобы обсуждать ее с гражданами, не являющимися экспертами, все еще широко распространена в обществе... Представление о том, что только избранные народом представители ответственны за будущее общества, определяет теоретические построения и практику большинства современных демократий и структуру их репрезентативного правления. Граждане избирают своих представителей, которым выдается мандат на право правления и принятия решений за них — от их имени и в их интересах, — и этот механизм освобождает граждан от большинства факторов ответственности. В течение вот уже более

ста лет развития современных демократий граждане привычно уже мало вовлечены в процессы публичного управления за пределами участия в выборах раз в несколько лет» [Gouache 2022: 68]. Такой политический механизм демонстрирует свою всё нарастающую дисфункциональность, так как «многие в мире не удовлетворены тем, как работает демократия» [Pew Research Center 2019: 5]. Демократии испытывают сейчас снижение уровня доверия и участия [DeBardeleben, Rammett 2009], а сама модель представительной демократии оказывается при этом под вопросом [Michels 2011]. Одной из наиболее значимых причин этого является то, что в ситуации, когда определение направлений и содержания развития будущего вырабатывается лишь политиками и экспертами, граждане оказываются вне рамок этой деятельности. Эффективное включение их в эту деятельность должно и может быть реализовано в рамках разработки и реализации проектов партиципаторного Форсайта, «Форсайта участия» как стратегической политико-коммуникативной технологии исследования и формирования будущего, как важнейшего элемента реализации идеи и развития практики партиципаторной Демократии, «Демократии участия».

Литература

1. Coates J. Foresight in Federal Government Policy Making // *Futures Research Quarterly*. 1985. No. 1–2. P. 29–53.
2. Cuhls K. Bringing Foresight to Decision-Making — Lessons for Policy-Making from Selected Non-European Countries: Policy Brief by the Research, Innovation, and Science Policy Experts (RISE). Ed. by M. Weber and D. Andréе. 2015. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/groups/rise/cuhls-foresight_into_decisions.pdf (accessed 22.04.2022).
3. Cuhls K. From Forecasting to Foresight Processes: New Participative Foresight Activities in Germany // *Journal of Forecasting*. 2003. Vol. 22. No. 2–3. P. 93–111.

4. DeBardleben J., Pammett J. *Activating the Citizen: Dilemmas of Participation in Europe and Canada*. London: Palgrave Macmillan, 2009. 323 p.
5. Drucker P. *Post-Capitalist Society*. NY: Routledge, 1993. 232 p.
6. Faucheux S., Hue C. From Irreversibility to Participation: Towards a Participatory Foresight for the Governance of Collective Environmental Risks // *Journal of Hazard Materials*. 2001. Vol. 86. P. 223–243.
7. Flechtheim O. *History and Futurology*. Meisenheim am Glan: Anton Hain Verlag, 1966. 126 p.
8. Georghiou L., Cassingena J., Keenan M., Miles I. and Popper R. // *The Handbook of Technology Foresight — Concepts and Practice*. Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing Ltd., 2008. 456 p.
9. Gouache C. *Imagining the Future with Citizens: Participatory Foresight and Democratic Policy Design in Marcoussis, France* // *Policy Design and Practice*. 2022. Vol. 5. No. 1. P. 66–85.
10. Grupp H., Linstone H. *National Technology Foresight Activities around the Globe* // *Technological Forecasting and Social Change*. 1999. Vol. 60. No. 1. P. 85–94.
11. Helmer O. *Analysis of the Future: The Delphi Method*. 1967. <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P3558.pdf> (accessed 15.03.2022).
12. Jouvenel, B. *The Art of Conjecture*. New York: Basic Books, 1967. 307 p.
13. Kahn H., Weiner A. *The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty Years*. Macmillan Publishing, 1967. 432 p.
14. Loveridge D. *Foresight: The Art and Science of Anticipating the Future*. New York: Routledge, 2009. 288 p.
15. Martin, B., Irvine, J. *Research Foresight: Priority-Setting in Science*. London: Pinter, 1989. 366 p.
16. Meadows D. H, Meadows D, L., Randers J., Behrens W. *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind (A Potomac Associates book, 23)*. New York: Universe Books, 1972. 205 p.
17. Michels A. *Innovations in Democratic Governance: How Does Citizen Participation Contribute to a Better Democracy?* // *International Review of Administrative Sciences*. 2011. Vol. 77. No. 2. P. 275–293.

18. Nikolova B. The Rise and Promise of Participatory Foresight // European Journal of Futures Research. 2014. Vol. 3. No. 2. <https://proxy.library.spbu.ru:2060/10.1007/s40309-013-0033-2> (accessed 19.04.2022).

19. Pew Research Center. Many Across the Globe Are Dissatisfied With How Democracy Is Working. April 2019. <https://www.pewresearch.org/global/2019/04/29/many-across-the-globe-are-dissatisfied-with-how-democracy-is-working> (accessed 23.04.2022).

20. Popper R. Mapping Foresight. European Union, Luxembourg, 2009. http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/efmn-mappingforesight_en.pdf (accessed 22.04.2022).

21. Rosa D., Kimpeler S., Schirrmeister E., Warnke P. Participatory Foresight and Reflexive Innovation: Setting Policy Goals and Developing Strategies in a Bottom-Up, Mission Oriented, Sustainable Way // European Journal of Futures Research. Vol. 9. No. 2. <https://doi.org/10.1186/s40309-021-00171-6> (accessed 15.03.2022).

22. Slaughter R. A. The Foresight Principle: Cultural Recovery in the 21st century (Adamantine studies on the 21st century, 13). London: Adamantine, 1995. 256 p.

23. Strategic Foresight: European Commission Website 2021 https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight_en (accessed 21.04.2022).

24. Son H. The History of Western Futures Studies: An Exploration of the Intellectual Traditions and Three-Phase Periodization // Futures. 2015. Vol. 66. P. 120–137.

25. van der Heijden K. Scenarios: The Art of Strategic Conversation. Chichester, England; New York: John Wiley & Sons., 1996. 384 p.

ГЛАВА 8. СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДОВ ТЕРРИТОРИЙ

Современный мир — это мир, где доминируют неосязаемые активы: человеческий капитал, имидж, бренд. Роль таких активов в экономике огромна, причем не только в традиционных областях, но и в таких сферах, где конкуренция еще 20 лет назад казалась невозможной. Сегодня не только товары и услуги, но гораздо более сложные объекты, такие как города и конкретные места, могут иметь развитые бренды. Все те выгоды, которые приносит бренд своим создателям, могут быть распространены и на государства, реализующие эффективные стратегии развития брендов мест и создания городов-брендов. Бренды мест приносят дополнительные выгоды и их жителям, как напрямую через доходы от туристической и связанной с ней предпринимательской деятельности, так и опосредованно, через развитие инфраструктуры, размещение на этой территории важных для жителей экономических объектов,

наличие рабочих мест, общий рост благосостояния и уровня жизни [Анхольт, Хильдрет 2010; Булина 2013; Баландина, Алиаскарова, Игнатова 2020].

Тем самым правительствам стран и местным органам власти выгодно всячески способствовать развитию брендов городов и отдельных мест, так как это позволит повысить общий уровень привлекательности страны для туристической и экономической деятельности, получать более значимые доходы и способствовать повышению уровня жизни в стране. Более того, формирование сильных брендов городов и мест превращается в ключевой фактор успеха на глобальном рынке, так как обеспечивает их приоритетный выбор для посещения и размещения в них различных объектов среди широкого круга альтернативных возможностей.

Понятие бренда территории. В современном мире существует развитый рынок территорий, на котором доходность экономических объектов определяется не только их внутренними факторами, но и местом их расположения и их взаимосвязью с привлекательным в определенной временной перспективе территориальным образованием, а также их восприятием потенциальной аудиторией («страна как бренд», по меткому выражению «гуру маркетинга» Филипа Котлера и Дэвида Гертнера [Kotler, Gertner 2002]).

Само по себе понятие бренда города рассматривается по-разному. Так, например, Моиланен и Райнисто [Moilanen, Rainisto 2009] рассматривают бренд города, как то «впечатление, которое производит город на целевую аудиторию», как сумму «всех материальных и символических элементов, которые делают город уникальным».

В то же время Анхольт [Anholt 2010] рассматривает бренд, как конкурентную идентичность города, тем самым делая акцент на способности бренда влиять на конкурентные позиции города по отношению к другим мировым центрам притяжения. Кроме того, конкурентная идентичность города

позволяет ему привлекать сравнительно большие инвестиции за счет его приоритетного выбора.

Каваратзис утверждает, что бренд города — «это больше, чем просто выявление уникальности города на основе позитивных ассоциаций, — это формирование самих ассоциаций» [Kavaratzis 2008: 53]. Тем самым делается акцент на то восприятие города, которое формируется в сознании всех его целевых аудиторий.

Кроме того, подчеркивается многогранность понятия бренда города (места): «это многомерный конструкт, состоящий из функциональных, эмоциональных и материальных элементов, которые в совокупности создают уникальный набор ассоциаций с местом в общественном сознании» [Kavaratzis 2008: 53–54].

Многие авторы обращают внимание на то, что бренд города представляет собой комплекс уникальных ассоциаций. Например, бренд города — «это система ассоциаций в сознании потребителей города, базирующихся на визуальных, вербальных и ментальных проявлениях. Бренд города формируется через постановку целей, налаживание коммуникаций и пропаганду ценностей» [Zenker, Martin 2011].

Анализируя рассмотренные ранее определения, можно сделать вывод, что бренд города — это:

1. Впечатление, которое производит город на потенциальную целевую аудиторию;
2. Сумма всех материальных и символических элементов, которые делают город уникальным.

Одна из главных задач создания успешного бренда города — это привлекательность для потенциальных посетителей города (туристов, лиц, приехавших в город с целью трудоустройства или же по деловым мотивам) и его жителей, а также создание позитивного имиджа для жизни, трудовой деятельности, ведения бизнеса и отдыха [Дэвис 2005; Волкова, Кулакова, Волков 2020; Волкова, Алмакучуков, Старобинская 2020]

На основе приведенных выше понятий бренда и их авторской трактовки можно предложить следующее определение. Бренд города — это совокупность материальных объектов, а также образов, атрибутов и мифов, возникающих в сознании всех его целевых аудиторий, способствующая повышению привлекательности города для посещения и размещения в нем объектов различных типов, в том числе международных.

Предпосылки формирования бренда города — это своего рода формирование четкого восприятия города у большой группы независимых людей, создание определенного представления города различными группами людей через четкие ассоциации. Следовательно, чем более ясный и однозначный образ положен в основу бренда и чем более четко он связывается в сознании самых разных групп людей с образом этого города, тем сильнее и успешней будет его бренд.

Именно поэтому проблемы развития территории и брендинга территории находятся в фокусе современной теории. Данным вопросам посвящены работы Саймона Анхольта [Anholt 2009] и Роберта Говерса [Govers, Go 2009], анализирующих вопросы создания бренда, его идентичности и индивидуальности, работы Эвана Поттера [Potter 2009], Кейта Динни [Dinnie 2011], Эли Аврахам и Эвана Кеттера [Avraham, Ketter 2012], в которых рассмотрены вопросы практики брендинга и продвижения бренда территории, и, наконец, монография Ари-Векко Антироко [Anttiroiko 2014], где данный вопрос обобщен на политэкономическом уровне. Отметим и возникший интерес к брендингу мест со стороны органов государственной власти в самых разных странах, заинтересованных в продвижении бренда для повышения конкурентного статуса территорий, привлечения капитала в разные города и территории для стимулирования экономического роста [Govers, Go 2009; Социально-культурная... 2019]. Заметим, что интересные исследования, связанные с продвижением бренда территорий, касаются стран с самым

разным уровнем экономического развития. При наличии желания, денег и идей можно продвигать бренды известных мест как в странах-лидерах (Жерар Мэнкен [Mahnken 2011] приводит пример продвижения федеральной земли Бренденбург), так и в странах-аутсайдерах Евросоюза (Эдуардо Хенрике да Сильва Оливера анализирует в своей статье программу продвижения бренда Португалии [da Silva Oliveira 2015]). Брендинг территорий может рассматриваться и в контексте социальной политики: прекрасным примером является «брендинг трущоб» в Рио-де-Жанейро [Torres 2012]. К сожалению, маркетологи часто игнорируют сложность брендинга мест: они фокусируются на описании брендов и пропаганде, а не правильной их концептуализации. Хотя стратегии брендинга территорий могут быть успешными и для мест с негативным имиджем, в частности, с социальными проблемами, но их результаты неоднозначны и зависят от массы факторов, в том числе и реакции местных жителей [Jones, Kubacki 2014]. Так, при наличии сильных ассоциаций с брендом, у жителей не только развивается лояльность к бренду, как указывают в своей статье Элирия Кемп, Карла Чайлдс и Ким Уильямс [Kemp, Childers, Williams 2012], но они становятся своеобразными «маркетологами по совместительству», поддерживающими и продвигающими бренд.

Рассмотрим пример невероятно сильного бренда города — это пример бренда Венеции. Венеция — город прошлого, город мистики и тайн, очаровывающий своей богатой историей. Можно утверждать, что начальное формирование бренда Венеции началось в XIII веке, в эпоху расцвета крестовых походов, когда венецианская республика стала центром торговли и символом процветания и богатства.

В отличие от многих современных городов, в Венеции никогда не проводились крупные кампании по развитию бренда. Однако благодаря большому количеству культурных

и туристических программ бренд этого города не только не ослабевает, а постоянно развивается.

Хотя в Италии существует много известных исторических центров, которые необоснованно забыты и не столь сильно притягательны для различных групп потенциальных потребителей. Например, город Матера, имеющий гораздо более древнюю историю, чем многие известные города; город, где некоторые жилища использовались для проживания уже в то время, когда в Египте после Второго переходного периода расцвело Новое царство, правили Хатшепсут и Эхнатон, очень слабо известен среди туристов и других групп потенциальных посетителей города.

Бренд Венеции сформировался под воздействием удачного спонтанного сочетания разнообразных факторов, среди которых одним из ключевых можно назвать «Легенду о тонущем городе». В этой легенде есть существенная доля правды, так как Венеция действительно ежегодно опускается по отношению к уровню моря. В то же время это миф, постоянно укрепляемый в сознании туристов, посещающих город, и разносящих данный миф по всему свету. В результате все новым и новым толпам туристам хочется увидеть гибнущий город, тем более что эта гибель вовсе не опасна для приезжающих.

Этот миф поддерживается и общей атмосфера увядания, которая тщательно поддерживается в Венеции. Можно утверждать, что это единственная система направленных мероприятий, которая проводится в городе для развития его бренда. В городе реализованы программы реставрации, которые направлены на сохранение аутентичной атмосферы увядания Венеции. Эти программы поддерживаются ЮНЭСКО, под охраной которой находится большая часть «старой Венеции».

В соответствии с этими программами, все виды внешних реставрационных работ в старой части Венеции и значительная часть внутренних работ по реставрации должны проводиться

исключительно методами, обеспечивающими полный цикл восстановления здания с комплексной его гидроизоляцией, но при этом создающими внешний облик частично облупившихся и обтрепанных временем домов. Необходимо также отметить, что реставрация Венеции охватывает не только ее здания, но и целостный ландшафт города.

Необходимо отметить, что подобная реставрация города значительно дороже общепринятой. Так один квадратный сантиметр реставрации фасада исторического здания с использованием прослойки из гидроизолирующих полимерных смол может обходиться от 100 до 200 евро. Тем самым подобный вид отделки сам по себе является уникальной составляющей бренда Венеции, удивительно совмещающего в себе нищету древней Италии и ее невероятное культурное величие, сопровождаемое вполне ощутимым финансовым благополучием города. Потребители бренда не задаются вопросом, как именно в образе Венеции уживается ее нищета и выраженное финансовое благополучие, но оба эти полюса притягивают своих почитателей.

Культура, искусство и Венеция — представляют собой единое целое. Само взаимное притяжение Венеции и искусства создает эффективную среду для заключения различных сделок в сфере искусства. В Венеции поддерживается значительное количество программ, направленных на развитие выставочной деятельности, презентацию современных авторов самых разнообразных направлений в искусстве, организацию различных арт-событий и мероприятий мира искусства. Все эти проекты поддерживают сложившийся культурный бренд города и усиливают его конкурентоспособность.

Следовательно, возникает необходимость выявления механизмов оценки и сравнения территорий, а также перспективности выбранной ими стратегии позиционирования.

Стратегия прорывного позиционирования территории. Выбор конкретного типа стратегического поведения связан

с серьезным анализом ресурсного потенциала территории, конкурентной среды и потребительского поведения на рынке мест. В настоящее время классические конкурентные стратегии дополняются новыми маркетинговыми подходами, определяющими пути достижения лидерства на рынке. Одним из таких подходов является использование стратегии прорывного позиционирования.

Стратегия прорывного позиционирования пока не очень сильно освоена не только при продвижении территорий, но даже и при продвижении товаров и услуг. В то же время она может обеспечить компаниям, ее применяющим, и их продуктам огромные перспективы в отношении завоевания рынка и обеспечения конкурентоспособности в новых экономических условиях. И сейчас можно утверждать, что успех некоторых проектов (связанных с товарами, организациями, услугами и местами) объясняется обдуманым или интуитивным применением стратегии прорывного позиционирования.

В основе стратегии прорывного позиционирования территорий лежит возможность создания уникального качества места (или товара (услуги)) или уникальных его свойств. Это позволит потребителю отдавать предпочтение такому месту среди массы подобных мест. Наличие уникальных качеств территорий, имманентно с ними связанных товаров или услуг, ощущаемых потребителями, дает возможность устанавливать более высокие цены, что воспринимается потребителем не просто как обоснованная, но и как необходимая мера. В сознании потребителя высокая цена товаров или услуг и ограничения в доступе к их получению определяют элитарный характер места, и снижение цены или упрощение доступа были бы восприняты скорее негативно и означали бы, с точки зрения потребителя, ослабление позиций территории. Тем самым применение стратегии прорывного позиционирования способно вывести такие территории в особую рыночную группу, выделить их даже среди лидеров.

В основе уникальных характеристик места находится соотношение между сформированным дизайном (стилем) и связанными с его брендом (или вовлеченными в создание преимуществ) технологическими решениями и инновациями.

Это соотношение может быть продемонстрировано на следующей матрице «дизайн — технологии», взятой ой в качестве основы модели прорывного позиционирования Джонатаном Кейганом и Крейгом Вогелем [Cagan, Vogel 2013] (рис. 1).



Рис. 1. Карта позиционирования по Дж. Кейгану и Г. Вогелю.

Матрица имеет четыре квадранта в соответствии с комбинацией стилистических и технологических факторов. Матрица позволяет подразделить все продукты (услуги) на четыре группы, для каждой из которых предложить свои конкурентные подходы.

Выбор стратегии позиционирования территории может определить ее эффективное развитие в долгосрочной перспективе. Однако при неучете отдельных факторов позиционирования территории, в частности, факторов, закрывающих так называемый SET-разрыв, обеспечивающий успех прорывного позиционирования территорий, в соответствии с матрицей «дизайн — технологии», введенной Джонатаном Кейганом и Крейгом Вогелем [Cagan, Vogel 2013: 52], стратегия развития территории может не дать выраженного эффекта. Более того, неправильное позиционирование территории по ряду основных атрибутов SET-разрыва может привести

к несостоятельности выбранной стратегии и ослаблению конкурентных позиций территории на глобальном рынке, и даже к полному отсутствию интереса со стороны всевозможных потенциальных потребительских групп к данной территории. Отметим, что интерес к брендингу территорий должен основываться на четком представлении не только факторов, изменяющих бренд (и возможности манипуляции этими факторами), но и влиянию этих факторов на капитал бренда, что наглядно демонстрируют в своих работах Джон и Николас Джексон О'Шонесси [O'Shaughnessy, O'Shaughnessy 2000], Рави Паппу и Паскаль Квестер [Pappu, Quester 2010]. Действительно, при создании и продвижении брендинга территории возникают проблемы, имеющие как теоретическую, так и практическую направленность, в результате которых данный процесс приводит к экономически несущественным результатам (в лучшем случае), а то и негативно влияет на конкурентоспособность национальной продукции и порождает многие новые проблемы, вместо того чтобы их решать. SET-разрыв возникает при одновременном «разрыве» в трех областях: общество (S — social), экономика (E — economic) и технологии (T — technological), именно его преодоление и дает возможность применения прорывных стратегий [Sagan, Vogel 2013].

Тем самым необходимо подробнее рассмотреть, на какие именно факторы SET-разрыва необходимо делать акцент при выбранном способе позиционирования территории. Выбор конкретной комбинации SET-факторов позволит определить, как именно должны позиционироваться те или иные атрибуты бренда территории или конкретного города.

В данном случае будем рассматривать классификацию территорий в соответствии с матрицей «дизайн — технологии», предполагающей выделение четырех основных типов стратегий позиционирования: генерик, кич, высокотехнологичная территория и прорывная. Рассматривая города, бренды

которых позиционируются в соответствии с позициями этой матрицы, необходимо отметить, что разные конкурентные позиции городов при выборе приоритетной стратегии развития бренда могут иметь существенно разное смысловое значение. Следовательно, исходя из разных типов позиционирования и опираясь на разные SET-факторы, можно достичь более или менее устойчивого положения бренда территории и выявить перспективы создания сильного бренда города в зависимости от преобладания среди его атрибутов того или иного комплекса SET-факторов [Пашкус, Пашкус 2016].

Так, для городов, чей бренд позиционируется как генерик, необходимо осуществлять продвижение исходя из социальной и экономической составляющих, так как фактор технологий для них практически незначителен. Точнее, технологическая составляющая брендов этих городов обычно является уже хорошо отработанной и типичной для городов этой группы. Отметим, что в данном случае для продвижения может активно использоваться экономическая политика государства [Volkova, Kulakova, Aliaskarova 2017; Pashkus et al. 2019]. Прекрасным примером таких городов служат финские Лаппеенранта и Иматра, которые благодаря ставке на правильные «факторы успеха» в 2006–2014 гг. продемонстрировали потрясающий рост. Политические же изменения подорвали фундамент благосостояния данных территорий.

Для городов, бренд которых позиционируется как кич, продвижение будет основываться на приоритете социальных и технологических факторов. Здесь, наоборот, экономическая составляющая уже в некотором роде отработана, так как она определяет принадлежность города к данной группе. Широко известные территории (например, Ибица) обладают высокой известностью и привлекательностью. Но без высокой ценности бренда такие места не только не будут доминировать в глобальном окружении, но и не смогут добиться даже малой известности.

Для брендов городов, в позиционировании которых сильна высокотехнологическая составляющая, акцент при продвижении должен делаться на социальную и экономическую составляющие, так как фактор технологий определяет причастность этих брендов к данной группе (например, индийский Бангалор). Огромное значение при продвижении играет инновационная составляющая [Anholt 2009; Pashkus et al. 2019].

Для прорывных брендов городов акцент должен осуществляться на экономическую и технологическую компоненты, так как социальная лежит в основе их активной маркетинговой стратегии. Отметим, что данное утверждение верно не только для современных городов. Прекрасный пример позиционирования Дельф в Древней Греции приводит в своей статье Д. Н. Счастливая [Счастливая 2014].

Тем самым социальный фактор обеспечивает «стилистическую уникальность» прорывного бренда и дает ему возможность выделиться в глобальном окружении. Однако достичь лидирующей позиции в соответствии с данной стратегией прорывной бренд может только за счет акцента на экономической и технологической составляющих. При этом, как подчеркивают в своей работе Ула Хаккала и Арья Лемметинен [Hakala, Lemmetynen 2011], следует учитывать необходимость крайне активного привлечения самых различных заинтересованных сторон при создании бренда. По сути, это означает, что прорывной бренд должен создаваться не только «сверху», но и снизу: на практике это можно реализовать с помощью предложенной Алеком Випперфюртом концепции «похищения» бренда его целевой аудиторией [Випперфюрт 2008].

В результате подобного представления характеристик SET-разрыва применение стандартных методик рыночного позиционирования брендов городов, например, методики GE/McKinsey, даст разную картину представления доминирующих и проигрышных позиций для разных типов брендов городов.

Присоединившийся к моде 1	Удачный модный бренд	Звезда
Пронгравший № 1	Присоединившийся к моде 2	Дойная корова
Пронгравший № 3	Пронгравший №2	Корова на час

Рис. 2. Матрица позиционирования брендов-генериков для городов, использующих стратегию прорывного позиционирования

Источник: авторская разработка

Для брендов-генериков области победителей и промежуточных могут быть интерпретированы следующим образом (рис. 2).

Для брендов-генериков показатели конкурентоспособности и привлекательности бренда будут учитывать социальную и экономическую ориентацию города. Для этих брендов область, соответствующая победителю № 1 по матрице McKinsey, может быть названа «звездой», по аналогии с матрицей BCG. Эта область будет соответствовать лидерству бренда города в глобальном окружении, достигнутому за счет типизации основных привлекательных факторов бренда и формирования максимально комфортных условий для потенциальных туристов, бизнесменов, жителей и инвесторов города, которым при прочих равных удобнее и дешевле будет осуществлять бизнес, жить, приезжать и производить вложения именно в этот город.

Подобным лидером-генериком является Франкфурт-на-Майне, историческая и культурная среда которого в значительной степени проигрывает даже многим близлежащим немецким городам. Достопримечательности в городе есть,

но опять-таки в сравнении с другими немецкими городами их не так уж и много, при этом ни одна не дотягивает до уровня мирового культурного наследия. Небоскребы Франкфурта однозначно уступают по количеству, разнообразию и высоте небоскрегам Дубая или Гонконга. Однако город создал удобную среду для жизни и осуществления деловой активности, в городе хорошо развита туристическая инфраструктура, он удобен как место пересадки и операционная база для различных маршрутов по Европе, реализуемые в городе инвестиционные проекты привлекательны хорошей продуманностью, доходностью и удобством для инвесторов. В результате среди других городов с типичной средой многие выбирают Франкфурт именно за его удобство и хорошую организацию сопровождения. Более того, продвижение бренда Франкфурта в основном нацелено на космополитическую ориентацию и социальное равенство людей, так или иначе посетивших или проживающих в городе. Город предлагает дешевое, комфортное и доступное всем времяпрепровождение и экономную удобную бизнес-среду, и именно на эти доминанты и делается акцент при продвижении его бренда. Такой бренд-лидер способен удерживаться в данной позиции за счет сравнительной дешевизны и удобства города, как временного пункта пребывания, проживания или осуществления операций.

«Дойная корова» — это удачный вариант развития стратегии продвижения по данному типу брендов, так как такие города будут долгое время посещать или использовать в качестве операционной или деловой базы люди с более консервативными потребительскими предпочтениями. Этот тип рыночной позиции заменяет победителя № 3 в классической матрице McKinsey.

Позиция «удачный модный бренд», как рыночная позиция, предполагает, что город смог встроиться в существующий сильный тренд. Позиция будет обеспечивать лидерство за

счет низких издержек потребителей бренда до тех пор, пока существует спрос основного тренда. Позиция города «корова на час» предполагает, что его посещают или к нему обращаются по старой памяти, но сама привлекательность города кратковременная, что не дает возможности городу достичь устойчивого конкурентного преимущества. Какое-то время бренды таких городов будут приносить доход, как и «дойные коровы», доход по ним будет превосходить затраты на развитие и продвижение бренда, но этот временной интервал может быть недолгим. «Присоединившиеся к моде» ориентированы на экономически выгодное для потребителей бренда города посещение или проживание в городе, попавшем в текущий модный тренд. Однако положение таких городов устойчиво настолько, насколько устойчива мода. При этом положение первого чуть лучше, чем второго, но привлекательность обоих этих брендов может рассматриваться только в краткосрочной перспективе.

Для высокотехнологичных брендов городов матрица позиционирования будет несколько иной (рис. 3).

Для этих городов высокий уровень развития технологий являются определяющим фактором, поэтому при правильном

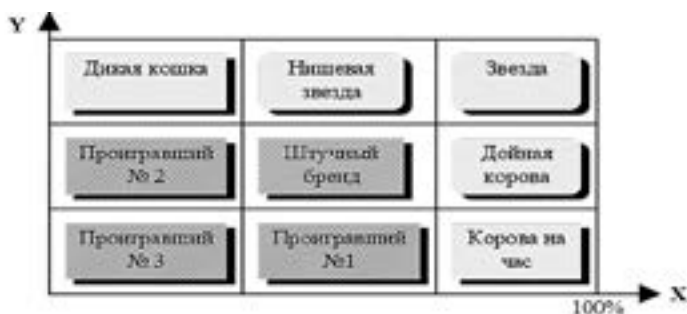


Рис. 3. Матрица позиционирования высокотехнологичных брендов городов, использующих технологию прорывного позиционирования

Источник: авторская разработка

технологическом позиционировании города и выборе его основной целевой аудитории, он способен занять лидирующее положение в глобальной среде среди других технологических брендов. Такие правильно позиционированные технологические бренды городов, проходят последовательно стадии «дикой кошки» и «нишевой звезды» и способны в результате достичь лидирующего положения и стать устойчивой технологической «звездой», примером которых является, например, Силиконовая долина.

«Дикая кошка» в данной интерпретации, так же как и аналогичные бренды в матрице ВСГ, является захватчиком ресурсов. Эти бренды требуют огромных затрат на продвижение и проведение различных рекламных мероприятий, продвигающих технологические продукты и город, в котором они создаются, как лидера в технологическом секторе. В то же время результаты этих мероприятий на стадии продвижения города, его технологических продуктов и технологических предприятий не ясны и, следовательно, высоки инвестиционные риски. Если выбранная стратегия продвижения окажется удачной, то «дикая кошка» может стать «нишевой звездой».

В случае высокотехнологичных брендов молодая звезда, соответствующая лидирующему положению, но высоким затратам на поддержание бренда, будет лидером на некотором потребительском сегменте, потребности которого город способен удовлетворить в максимальной степени. В случае, когда этот город сможет создать глобальный бренд и лидировать в технологической сфере в мире, он станет «звездой» в классическом понимании и будет наиболее привлекателен для инвесторов и привлекателен всем группам потребителей технологического бренда города.

Состоявшаяся звезда при снижении привлекательности бренда и ослаблении внимания к технологическим атрибутам города может обеспечить переход в позицию «дойная корова», которая будет в течение определенного периода приносить

городу устойчивую прибыль бренда, превосходящую расходы на его поддержание. Фактически «дойная корова» для высокотехнологичных брендов городов является нишевой позицией. Этот город посещают, проводят в нем свои деловые операции или вкладывают средства в его проекты именно те потребители бренда города, которые понимают ценность его технологических отличий. Возможно, вложения в бренд этого города осуществляются потому, что у него есть отдельные удобные качества (например, Шанхай по отношению к Силиконовой долине или по отношению к Кембриджу (Массачусетс, США), где расположен Массачусетский технологический университет). Инвестиции в такие бренды технологических городов осуществляются очень избирательно.

«Корова на час» представляет собой присоединившихся к технологическому лидеру уже на стадии ослабления привлекательности его бренда, т. е. копируется стратегия технологического (инновационного) лидера в момент, когда технологическое лидерство города является уже не полностью бесспорным. В этом случае город использует удачные идеи для технологического продвижения и не тратит усилий на создание собственной технологической идентичности, копируя стратегию технологического лидера, идентичность которого уже сама находится под сомнением. В этой позиции бренд может приносить его создателям или инвесторам приемлемую прибыль в течение не очень длительного времени, так как привлекательность выбранного технологического атрибута уже затухает.

Однако бренды этих городов могут быть успешно позиционированы как генерики, а в некоторых случаях — как бренды-кич, в атрибутах которых технологическая составляющая является только мнимой. В этом случае позиционирование города в другой категории может быть значительно более удачным, а его позиция — более долговременной.

Отметим, что у брендов городов, попадающих как минимум в две позиции (Штучный бренд и Проигравший № 2) может



Рис. 4. Матрица позиционирования для брендов городов категории «кич», использующих стратегию прорывного позиционирования

Источник: авторская разработка

быть достаточно интересная судьба: из высокотехнологичных брендов за счет копирования эффективной стратегии технологического лидера бренды этих городов могут перейти на выигрышные позиции в качестве бренда-генерика или бренда-«кич».

Для брендов городов категории «кич» матрица позиционирования будет иметь несколько отличные позиции (рис. 4).

«Дикая кошка» для данной группы представляет собой город, идея бренда которого уже сформирована и все предпосылки для развития глобального бренда у этого города имеются, но собственно продвижение или развитие бренда этого города пока не осуществлено. Такие города не обладают выраженными технологическими атрибутами, но новизна их брендов заключается в концепции представления города, выделении его эксклюзивных качеств. Такой город будет представляться нетиповым образом. Инвестиционные проекты таких городов могут быть высоко доходными, правда, возможно, в кратковременный период.

Если идея продвижения бренда города сработает, то этот город может стать «молодой звездой», т. е. его бренд начнет

лидировать на определенном сегменте глобального рынка территорий, в результате у этого города возникает определенная доля почитателей, он становится модным в определенных кругах. Если город войдет в широкую моду у экзальтированной публики, то он имеет все шансы стать классической звездой. Когда такая звезда теряет рыночную привлекательность, то удержать ее позиции на глобальном рынке территорий практически невозможно. Очень многие города, когда-либо бывшие модными, потеряв свою привлекательность, стали для большинства потенциальных потребителей просто местом на карте, даже при условии наличия выраженных привлекательных отличий. Влияние социальных факторов может негативно сказаться на проекте, и, к сожалению, начинает активно развиваться механизм неблагоприятного отбора [Kliestik, Dengov 2015]. У такого рода городов могут возникнуть проблемы с пространственной идентичностью (как отмечают, например, Михалис Каваратзис и Мэри Йо Хатч [Kavaratzis, Hatch 2013]) или с несоответствием целевой аудитории идентичности бренда (как подчеркивают Себастьян Зенкер и Сюзанна Бекман [Zenker, Beckmann 2013]).

Многие города, стремящиеся к глобальному лидерству, берут на вооружение стратегию лидера-кич. В результате удачного использования этой стратегии возникает «корова на час», бренд города, который способен генерировать ресурсы в течение короткого интервала времени, пока мода на первичный бренд существует. «Корова на час» позиционируется на чуть отличной потребительской аудитории, но с прежней идеей, правда преуспевание в этой позиции кратковременно.

В случае дальнейшей утраты рыночной привлекательности или снижения конкурентного статуса бренд-кич попадает в группы «переходных», которые сами по себе неустойчивы. Эти города нуждаются в новой маркетинговой идее или значительной коррекции бренда. «Переходный № 1» несколько лучше в силу более высокой привлекательности бренда, для

«переходного № 2» требуется уже искать принципиально новые идеи продвижения. Отметим, что такая идея может быть и достаточно оригинальной. Так, например, Кэтрин Свесон [Swanson 2015] предлагает в качестве такой идеи любовь. Бренд любви применительно к определенной территории способен дать замечательные результаты.

Если эти города не удастся продвинуть в лидирующую зону, то их бренды уйдут в область проигравших, что для брендов-кич означает абсолютный крах составляющей их идеи брендинга.

Для прорывных брендов городов матрица также будет сильно отличаться от уже рассмотренных ранее (рис. 5).

Отличие матрицы позиционирования для города, развивающего прорывной бренд, заключается, прежде всего, в том, что у нее больше проигрышных позиций, которые при реализации другой стратегии могли бы обеспечить некоторый успех. Тем самым, позиционирование в прорывном кластере само по себе более рискованно. Город, стремящийся создать прорывной бренд, при неспособности закрыть SET-разрыв становится абсолютно не состоятелен на глобальном рынке территорий.



Рис. 5. Матрица позиционирования для городов, позиционирующих свой бренд в прорывной области

Источник: авторская разработка

Позиция «дикая кошка» в данном случае замещается «латентным или несостоявшимся прорывным», что означает наличие прорывной идеи продвижения и технологических (инновационных или социально востребованных) атрибутов бренда города. В принципе, возможна ситуация, когда выбирается неверной сама прорывная идея.

Если идея была состоятельна, то город может создать сильный бренд и стать «прорывным лидером», но это произойдет только при полном закрытии SET-разрыва. При определенной «слабине» отдельных атрибутов бренда он станет «псевдопрорывным» (как это произошло с Аресом и Ладжесом, которые спонтанно позиционировались как места расположения космодромов для приема инопланетян и неожиданно для себя стали привлекательными туристическими пунктами). Псевдоинновационные бренды часто попадают в позицию «псевдопрорывных», так как при недостаточной новизне технологических атрибутов бренда не могут обеспечить SET-разрыв по всем трем направлениям.

Ослабление привлекательности прорывного бренда будет означать переход в область «псевдодойных коров», которые для внешнего мира кажутся высоко привлекательными, но на самом деле поддержание их бренда на высоком уровне требует осуществления постоянных значительных затрат. Тем самым бренды таких городов приносят гораздо менее значительные доходы городу, а за поддержание притока в город туристов или бизнесменов приходится постоянно бороться с другими привлекательными направлениями, и эти затраты себя не очень оправдывают. «Коровы на час» представляют собой бренды конкурентов, которые пытаются присоединиться к кажущейся привлекательной стратегии брендинга, на самом деле уже утрачивающей свою актуальность, поэтому эксплуатация данной позиции оказывается кратковременной и не очень эффективной.

Заключение. Тем самым учет реальных характеристик позиционирования территории при формировании стратегии

развития ее бренда и реализации конкурентной стратегии позволит избежать неверной интерпретации ее отдельных атрибутов и выбора несостоятельного способа позиционирования. Особое внимание нужно уделить созданию сильных культурных брендов, позволяющих достичь значительных результатов при позиционировании. Полный анализ рынка позволяет правильно определить конъюнктурные разрывы, и создать свою уникальную ценность. Это требует определенного креатива, но в целом процесс создания ценности может быть формализован, что делает применение стратегии прорывного позиционирования относительно доступным для команд специалистов. Использование предложенного инструментария позиционирования территорий позволит выбрать для конкретного города с его перспективными атрибутами бренда тот способ позиционирования, который обеспечит ему наибольшую привлекательность на глобальном рынке территорий.

Литература

1. Anholt S. (2010) The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index SM 2009 Highlights Report. [Электронный документ]. <http://www.simonanholt.com/Research/research-introduction.aspx>
2. Anholt S. Places: Identity, Image and Reputation. Palgrave Macmillan, 2009. 256 p.
3. Anttiroiko A.-V. The Political Economy of City Branding. Routledge, 2014. 214 p.
4. Avraham E., Ketter E. Media strategies for marketing places in crisis: Improving the image of cities, countries and tourist destinations. Routledge, Taylor and Francis, 2012. 256 p.
5. Cagan J., Vogel C. M. Creating Breakthrough Products: Revealing the Secrets that Drive Global Innovation, 2nd ed. Saddle River, NJ: Financial Times PressUpper, 2013. 416 p.
6. da Silva Oliveira E. H. Place branding in strategic spatial planning: A content analysis of development plans, strategic initiatives and policy

documents for Portugal 2014–2020 // *Journal of Place Management and Development*. 2015. Vol. 8. Iss. 1. P. 23–50.

7. Dinnie K. *City Branding: Theory and Cases*. Palgrave Macmillan, 2011. 256 p.

8. Govers R., Go F. M. *Place Branding: Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Experienced*. Palgrave Macmillan, 2009. 256 p.

9. Hakala U., Lemmetyinen A. Co-creating a nation brand “bottom up” // *Tourism Review*. 2011. Vol. 66. Iss. 3. P. 14–24.

10. Jones Sh., Kubacki K. Branding places with social problems: A systematic review (2000–2013) // *Place Branding and Public Diplomacy*. 2014. № 10. P. 218–229.

11. Kavaratzis M., Hatch M. J. *The Dynamics of Place Branding: An Identity-based Approach to Place Branding Theory* // *Marketing Theory*. 2013. Vol. 13. № 1. P. 69–86.

12. Kavaratzis M. *From city marketing to city branding: An interdisciplinary analysis with reference to Amsterdam*. Budapest and Athens: University of Groningen, 2008. 214 p.

13. Kemp E., Childers C. Y., Williams K. H. Place branding: creating self-brand connections and brand advocacy // *Journal of Product & Brand Management*. 2012. Vol. 21. Iss. 7. P. 508–515.

14. Kliestik T., Dengov V. *Quantitative Approach to Risk as a Social Phenomenon*. 5th International Conference on Applied Social Science. 2015. Vol. 80. P. 28–33.

15. Kotler P., Gertner D. Country as brand, product, and beyond: a place marketing and brand management perspective // *Journal of Brand Management*. 2002. Vol. 9. Iss. 4–5. P. 249–261.

16. Mahnken G. Place identity beyond province and metropolis: Paths and perspectives in Germany’s “capital region” Berlin-Brandenburg // *Journal of Place Management and Development*. 2011. Vol. 4, Iss. 1. P. 67–79.

17. Moilanen T., Rainisto S. *How to Brand Nations, Cities and Destinations. A Planning Book for Place Branding*. Palgrave Macmillan, 2009. 230 p.

18. O’Shaughnessy J., O’Shaughnessy N. J. Treating the nation as a brand: some neglected issues // *Journal of Macromarketing*. 2000. Vol. 20, Iss. 1. P. 56–64.

19. Pappu R., Quester P. Country equity: conceptualization and empirical evidence // *International Business Review*. 2010. Vol. 19. № 3. P. 276–291.

20. Pashkus, N. A. et al. Cultural City Brands and Global Competitiveness // *Revista San Gregorio*. 2019. Iss. 36. P. 197–209.

21. Potter E. H. Branding Canada. Projecting Canada`s soft power through public diplomacy. Montreal: McGill-Queen`s Univ. Press, 2009. 345 p.

22. Swanson K. Place brand love and marketing to place consumers as tourists // *Journal of Place Management and Development*. 2015. Vol. 8, Iss. 2. P. 142–146.

23. Torres I. Branding slums: a community driven strategy for urban inclusion in Rio de Janeiro // *Journal of Place Management and Development*. 2012. Vol. 5. Iss. 3. P. 198–211.

24. Volkova A. V., Kulakova T. A., Aliaskarova Zh.A. «Smart Regulation» and Models of Civil Cooperation in the Context of Global Challenges. Proceedings of the 17th International Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences. Zilina, Slovakia, 2017. P. 2903–2910.

25. Zenker S., Beckmann S. C. My place is not your place — different place brand knowledge by different target groups // *Journal of Place Management and Development*. 2013. Vol. 6, Iss. 1. P.6- 17.

26. Zenker S., Martin N. Measuring Success in Place Marketing and Branding. *Journal of Place Branding and Public Diplomacy*. 2011. Vol. 7. Iss 1. Pp. 32–41

27. Анхольт С., Хильдрет Дж. Бренд Америка. Мать всех брендов. М.: Добрая книга, 2010. 336 с.

28. Баландина Д. М., Алиаскарова Ж. А., Игнатова А. М. Цифровая экономика: особенности развития и поведения потребителей // *Известия Международной академии аграрного образования*. 2020. № 52. С. 59–63.

29. Булина А. О. Бренд территории как ключевой фактор ее развития // *Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований*. 2013. № 5. С. 23–29.

30. Випперфюрт А. Вовлечение в бренд. Как заставить покупателя работать на компанию. М.: Коммерсантъ, 2008. 384 с.

31. Волкова А. В., Алмакучуков К. М., Старобинская Н. М. Новые технологии городского развития и управление арт-рынком: опыт Санкт-Петербурга // Проблемы современной экономики. 2020. № 1 (73). С. 173–176.

32. Волкова А. В., Кулакова Т. А., Волков А. П. Социально-политические эффекты инновационных технологий городского развития и политика цифровизации // Проблемы современной экономики. 2020. № 4 (76). С. 127–131.

33. Дэвис С. Бренд-билдинг: создание бизнеса, раскручивающего бренд. СПб.: Питер, 2005. 320 с.

34. Пашкус Н. А., Пашкус М. В. Особенности прорывного позиционирования арт-объектов // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. 2016. Т. 7. № 1. С. 104–123.

35. Социально-культурная сфера в новой экономике: от развития образования до арт-рынка. Коллективная монография / Под ред. Н. М. Старобинской. СПб.: КультИнформПресс, 2019. 164 с.

36. Счастливая Д. Н. Особенности развития бренда территории (на примере формирования историко-культурных традиций Дельф, как межрегионального центра Древней Греции) // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. 2014. № 3. С. 236–249.

ГЛАВА 9.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Актуальность обращения к исследованию коммуникативного потенциала *символических стратегий* при описании процесса выработки и реализации политическими акторами долговременных и масштабных сценариев развития политических институтов и организаций очевидна в реалиях растущей фрагментации политического порядка и возрастания амбивалентности, непредсказуемости влияния многообразных культурных, символических ресурсов на динамику национальных политических систем и их объединений. Современные коммуникации, как полагает итальянская исследовательница К. Боттичи, достигли критического порога в своих количественных и качественных изменениях при продуцировании «политического воображаемого», которое не только опосредует политическую деятельность, но и претендует на то, чтобы «заниматься политикой вместо нас» [Bottici 2014: 178]. Символические стратегии «принуждения к действию», семантическим ядром которых является *соотнесение реальных фактов и событий с системами символов,*

порождают сакральные объекты и коллективные травматические ожидания, которые начинают жить своей собственной жизнью, формируя и массово вовлекая в политический процесс [Alexander 2006: 29—89; 2012: P. 25—39].

Подобные стратегии все чаще реализуются не только такими традиционными политическими субъектами информационной активности, как политические партии или государственные организации, а многообразными мнемоническими акторами, использующими коммуникативные ресурсы сетевого взаимодействия. Возникновение сетевых политических виртуальных сообществ радикально расширяет круг участников производства политических сценариев и моделей поведения, интенсивно вовлекая и мобилизуя ранее аполитичные социальные страты в политический процесс. Это усиливает процессы индивидуализации политических коммуникаций и тотального тиражирования нередко поверхностных, профанных и «безумных», катастрофических политических сценариев достижения целей [Stiegler 2019].

Подобные процессы ведут к асинхронности («разновременности») различий в восприятии социального времени у участников коммуникаций и конфликтам по поводу значимости для них тех или иных социальных событий и способов реализации коллективно значимых решений. Возникающий при этом «конфликт памяти» десинхронизирует структуры политической памяти сообществ и порождает «симмулякры» стратегических сценариев. Этот процесс стимулирует культивирование консьюмеристских, частных, конфликтующих между собой стратегий выживания, разрушая горизонт достижения коллективно-значимых целей как в отдельных коммуникативных сферах, так и во всем обществе. Асинхронизация коллективных ожиданий, сопровождаемых вспышками насильственных анархических протестов и дезорганизаций социальных институтов, ведет к утрате способности к мобилизации общества перед лицом внутренних и внешнеполитических кризисов.

Рассматривая этот феномен на примере межпоколенческих коммуникаций, Б. Гизен отмечал, что социологический взгляд на коммуникативную динамику социальной жизни, в особенности на современную, должен быть существенно скорректирован в контексте модели «асинхронности» («разновременности») [Giesen 2004: 27–40]. Эта парадигма, по его мнению, способна преодолеть инерцию модернистской модели, в основе которой лежат функционалистские и прогрессистские сценарии, которые рассматривают общество как систему взаимосвязанных подсистем, которые в идеале должны быть плотно соединены друг с другом (обмениваться информацией точно и вовремя) и последовательно преодолевать несовершенство прошлого и сбой в координации систем. Обращение к проблематике исследований символических стратегий как значимому измерению символической политики, связанной с асинхронией современных коммуникаций и проблемами темпорального структурирования коллективных представлений, на наш взгляд, позволяет более комплексно анализировать качественные изменения в способах стратегического позиционирования современных политических акторов.

Существуют многообразные, нередко оспариваемые варианты методологических подходов и терминов, используемые при описании социокультурной динамики политических коммуникаций и их стратегических измерений. В своей основе настоящее исследование понятийно строится вокруг таких базовых понятий, как *символическая политика*, *политика памяти* и *стратегический нарратив*, лежащих, на наш взгляд, в основании теоретического моделирования процесса асинхронизации/синхронизации коллективных ожиданий в современных политических коммуникациях. Автор не ставит перед собой задачу прикладного анализа специфики весьма вариативных способов реализации символических стратегий, а артикулирует теоретико-методологические приоритеты при

анализе символических стратегий в современных политических коммуникациях с акцентом на специфике социального конструирования стратегических нарративов как базового компонента синхронизации политических ожиданий. Поэтому представленный текст ориентирован ответить на два основных вопроса. На какие теоретико-методологические послышки ориентируются современные исследования символических стратегий в политической коммуникации и какие, в связи с этим, существуют теоретические проблемы и перспективы их преодоления? Какую роль в реализации *символических стратегий* играют *стратегические нарративы* и как они влияют на политико-культурную динамику политического позиционирования?

Теоретико-методологические основания исследования символических стратегий

При первом приближении наиболее валидной теоретической основой исследования символических стратегий политического позиционирования являются концепции *стратегической коммуникации* и *стратегической культуры*, поскольку символические проекции политики так или иначе связаны с социокультурными измерениями политических коммуникаций. В российских и зарубежных исследованиях, при всей вариативности прикладных трактовок, доминирует понимание стратегии как деятельности социальных субъектов и их организаций (стратегическим лидерством) по разработке и реализации программы долгосрочного планирования с целью достижения сложных целей в условиях конкурентности и ограниченности ресурсов. Понятие же *стратегические коммуникации* выступает своего рода «зонтичным термином» для описания многообразных форм *информационного обмена*, возникающего в процессе подобного целедостижения. В этом контексте социально-политическая коммуникация стано-

вится стратегической тогда, когда она связана с властными отношениями между организациями и окружающей средой [Богданов 2017: 132–152; Гавра 2020: 229–233; *New Leadership in Strategy... 2020*]. Подобная коммуникация посредством многообразных информационных ресурсов и средств связана с достижением долгосрочных (стратегических) политических целей для обеспечения долговременных преимуществ в конкурентной борьбе и может осуществляться на различных уровнях пространственных взаимодействий как внутри общества, так и в процессе внешнеполитического позиционирования политических систем и организаций.

Эффективность же подобного рода стратегий, как полагают исследователи, зависит от качества *стратегической культуры*. Так в работе российских авторов, в процессе критического обобщения теоретических подходов зарубежных и отечественных исследований, специфика *стратегической культуры* определяется как значимый для участников политических коммуникаций комплекс «фундаментальных и устойчивых предположений» о способах преодоления «расхождений, трений, напряженностей» в социальных отношениях и «способностей» социально-политических субъектов к «раннему и артикулированному восприятию конфликтных проявлений». Эффективность культурных стратегий в данном контексте связывается с обоснованием оптимальных конкурентных политических решений в условиях комплексных рисков и культивированием у участников политического процесса ожиданий стабильности и безопасности [Алейников, Мальцева 2019: 636].

На подобные аспекты обращает внимание и С. Г. Колин, отметившей в работе «Стратегия и политика», что функциональный анализ политических стратегий без проективного «ценностно-инклюзивного» измерения политики делает эту концепцию односторонней и неполной [Colin 2026: 10–11]. Канадская исследовательница специфики стратегических

коммуникаций в современной политике К. Кирстен, разрабатывая «критический коммуникативный подход», подчеркивает необходимость комплексного (контекстуально-исторического) анализа этого феномена, который не может сводиться к прагматике политического маркетинга, пиару или практики использования информационных ресурсов государства для создания краткосрочного позитивного имиджа власти. Стратегические коммуникации выступают символической борьбой многообразных акторов за влияние и контроль над политическими событиями и смену идеологического режима [Kirsten 2015: 396–408].

Не подвергая сомнению научную значимость и перспективность исследования подобного рода, позитивистских в своих основаниях, следует заметить, что подобная научная опция остается в рамках ценностно-нормативных моделей коммуникации, где ее символические аспекты носят характер производных от институциональных и организационных параметров коммуникации, связанных с продуцированием и сообщением информации. Вопросы возникновения/разрушения «коммуникативного понимания» и связанные с этим проблемы «работы» символических структур, темпоральные измерения этого процесса и их символическая репрезентация носят вторичный характер. В то время как представление о политическом времени является реальным «ресурсом» политики, влияющим на направленность политических решений и практик использования символического капитала. Феномен автономности и действенности символического позиционирования, столь характерного для современных коммуникаций, связанный с социальным конструированием смысловых образцов политических ожиданий и от чего собственно зависит эффективность символических стратегий, также нередко остается на периферии исследований.

Следует признать, что дополнительный теоретико-методологический импульс изучению культурных стратегий и их

роли в оформлении стратегий символической власти придали конструктивистские исследования международной безопасности и концепция культурного и символического капитала. Так британский исследователь М. С. Уильямс, отталкиваясь от идей П. Бурдьё, определяет культурную стратегию как «способ мышления о культуре» и форму власти, не сводимую к «мягкой силе» и манипулятивным символическим практикам элит или политических лидеров. Он предлагает рассматривать процесс социального конструирования политических стратегий и их специфику производной от структур политической игры, форм символического капитала и дискурсов повседневности. Анализ динамичных, исторически вариативных комплексов подобных символических конфигураций, их конкуренции, на его взгляд, позволяет ответить на вопрос успешности или неуспешности политических стратегий политического позиционирования для обеспечения безопасности обществ в конкретных исторических ситуациях [Williams 2007: 36, 123, 124]. На значимость культурной политики и символических измерений, не сводимых к строительству рациональных институтов и прагматическим стратегиям, акцентируют исследователи европейской интеграции как культурного, «воображаемого» и символического проекта с «плотным символическим сопровождением» посредством культивирования перформативных идеалистических дискурсов, политики идентичности и конструирования символических границ [Krumrey 2018: 208; Shore 2000: 62–64].

В связи с обозначенными выше теоретико-методологическими проблемами исследований стратегических коммуникаций и символических стратегий в политике, актуализируются теоретические посылки современной культурсоциологии. Ее парадигмы непосредственно нацеливают на исследование динамики символических структур внутривнутриполитического и внешнеполитического позиционирования в связи с процессом символического структурирования политических ожиданий

акторов в политической памяти сообществ. Мы полагаем, что обращение к понятию политическая память позволяет более комплексно анализировать процесс политической символизации, в отличие от традиционных интерпретаций политической культуры как комплекса ценностно-нормативных ориентаций, культивируемых в процессе политической коммуникации¹. *Политическая культура*, интерпретируемая как *политическая память*, предстает семантическим программированием политического опыта и взаимосвязанным комплексом взаимных ожиданий, способов и схем включения индивидов в политические сообщества (или их исключения из таких сообществ) посредством символизации, типизации политических событий в пространстве и времени. При этом под «ожиданиями» понимаются не субъективные мотивации политических действий, а структура (конфигурация событий), «солидарность ожиданий», обеспечивающая «вероятность того, что нужного рода действие будет действительно совершено» [Филиппов 2015: 212].

Ведущим коммуникативным функционалом политической памяти являются легитимация и делегитимация практик власти в процессе оформления или разрушения политических коммуникаций. Знания в символических горизонтах политической памяти общества, структурированные в политические ожидания, выступают порождающими моделями событий политической солидарности, обеспечивающими синхронизацию/десинхронизацию как личностной, коллек-

¹ Более подробно о специфике и возможностях культуросоциологической эпистемологии исследования динамики политической памяти, специфике ее символических структур, кодов, профилей легитимации, символических кодах представлено, в частности, в следующих работах автора: Завершинский К. Ф. Политическая культура как символическая «пересборка» политического // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2019. Т. 15. № 1. С. 88–107; Завершинский К. Ф. «Патриотизм элит» как дискурсивное измерение символических структур национальной памяти // Власть и элиты. 2020. Т. 7. № 2. С. 77–96.

тивной, так и национальной политической памяти. В основе семантических рядов национальной политической памяти находятся политические события, символизирующие практики контроля принуждения в процессе принятия «общеобязывающих» решений, как рациональные и идеологические символические схемы обоснования прошлого и будущего, так и символы телесно-чувственного восприятия героического и жертвенного. Подобные теоретические послышки особенно важно учитывать при реализации политики памяти, коммуникативного «связывания» национального пространства на основе символических кодов гражданственности для преодоления умножающихся в реалиях современных политических коммуникаций различий в понимании и репрезентации значимого прошлого, настоящего и будущего.

Важной предметной областью исследования «стратегической работы» национальной памяти по продуцированию и разрушению национальной идентичности становится изучение специфики ее «символических фигураций», отражающих меняющиеся отношения между прошлым и настоящим. Эти отношения обусловлены взаимосвязью конфликтной борьбы «памятей», конкуренции жанров и профилей легитимации [Olick 2016: 36–76]. Все эти символические элементы так или иначе определяют направленность коммуникативных стратегий в конкретных сообществах, могут стимулировать появление перспективных стратегических сценариев или ввергнуть общество в коммуникативный коллапс и гражданские войны.

Место и роль стратегических нарративов в символическом структурировании национальной памяти

Анализ политических нарративов и их репрезентаций как базовых символических структур национальной памяти выступает ведущим звеном при описании специфики динамики

политических коммуникаций и мнемонической активности акторов по конструированию стратегических сценариев их эволюции. В этом процессе стратегические нарративы, исследователи из смежных предметных отраслей исследования могут использовать понятия «меганарратива», «большого нарратива», выступают своего рода базовым инструментом символической синхронизации/асинхронизации частных политических дискурсов, интегрируя их содержание в более устойчивые дискурсивные образования. Подобный процесс политической наррации обеспечивает смысловую институционализацию политического пространства, снижая или повышая потенциал конфликтности политических дискурсов, возникающих в процессе политических коммуникаций, связанных с процессом борьбы политических акторов за политическое доминирование.

Принципиальными в связи с этим видятся теоретические послышки исследователей, работающих в русле культурсоциологического анализа, позволяющие конкретизировать стратегию репрезентации символических структур политических нарративов и их специфику в том или ином обществе. Нарративы выступают как символические практики обоснования политических событий в национальной памяти с целью поддержания социального равновесия [Patterson 1998: 315—331], являясь неотъемлемым компонентом социального конструирования политических сообществ, создавая символические структуры для конвенциональной интерпретации национальной памяти противостоя радикальным интерпретациям частных дискурсов. Авторитетный исследователь политико-культурных процессов Г. Гилл отмечал, что стратегические нарративы (метанарративы) нормализуют и стабилизируют значения одних понятий, в то же время изолируя и исключая другие [Gill 2011: 3—6, 20]. Он видит решение проблемы комплексного анализа специфики реализации символической политики на различных уровнях политического дискурса («идеология»,

«метанарратив», «миф») в исследовании политической эволюции «метанарратива» как методологического «ключа» к пониманию генезиса и развития символической политики «в настоящем» и ее «траектории в будущем». Прделанный им анализ символического содержания политического метанарратива («язык», «визуальное искусство», «символическая оформленность повседневной жизни», «ритуалы») как упрощенного символического основания идеологического дискурса и символического конструирования политического мифа в индустриальных обществах позволяет выявить роль символической политики в интеграции и синхронизации политических взаимодействий, меняя политическое пространство и время.

Нарративы влияют на представления участников политических коммуникаций о политической реальности и особенности ее знаково-символической репрезентации, которые, в свою очередь, воздействуют на появление и структурирование политических ожиданий и социокультурную динамику событийной структуры национальной идентичности. Политические нарративы возникают в процессе семантического снятия дихотомии символического бинарного кодирования, лежащего в основании политической динамики, привнося упорядоченность в трактовку временного и пространственного дизайна событийной структуры национальной памяти. Бинарное кодирование обеспечивает символическую классификацию мира, упорядочивая символические рамки временного и пространственного дизайна коллективно значимых политических событий [Alexander 2006].

Нарративы, в отличие от двоичных кодов, привносят упорядоченность в последовательность событий, а не акцентируют на различиях, позволяя ответить на вопросы «кто мы» и «откуда», согласовывая коллективные действия с «конечными» вопросами и мифопредставлениями на уровне повседневности. Подобную бинарность и возникающее в связи с этим ее

нарративное снятие можно интерпретировать посредством трех дискурсивных измерений: связанных со спецификой *ролевой структуры, социальных связей и институционального дизайна*. Нарративы, как дискурсивные практики обоснования событий в виде логической последовательности, имеют сюжетную структуру (начало, развитие и финальное разрешение) [Smith 2005: 14–24]. Стратегический нарратив реализуется не только посредством целерациональных или ценностно-рациональных дискурсов, а выступает способом реализации мифических репрезентаций в коллективных представлениях. Можно согласиться с О. Шмиттом, что символический потенциал стратегических национальных нарративов во внешнеполитических коммуникациях зависит от степени совместимости его символического содержания с семантикой мифоконструкций других политических сообществ, соотношения в его символических фигурах «универсального» и «локального» контента мифического [Schmitt 2018: 487–511].

Принципиальным при исследовании становления стратегических нарративов, на наш взгляд, является реконструкция профилей легитимации национальной памяти. Это предполагает исследование конфликтной динамики символических контуров национальной памяти, включающей разнообразные конкурирующие смысловые компоненты (образы прошлого, политические характеристики элит, типологию героического, представления о долге, вине и ответственности, приоритетные стратегии и практики борьбы с «врагами»), определяющие характер возникновения и умножения конфликтов частных политических дискурсов [Olick 2016]. От политико-культурной динамики символических «фигураций» и репрезентаций этих компонентов зависят изменения в восприятии событий как триумфальных или травматических, что ведет к изменениям в нарративной структуре политических событий и национальной идентичности. Влияет на характер струк-

турирования политических нарративов, как уже отмечалось, и жанровая специфика политической наррации, связанная с конкретными особенностями и интенсивностью символической поляризации на героев и злодеев. При этом Ф. Смит в упомянутом выше исследовании выделяет три основных жанра больших политических нарративов: со слабым потенциалом меморизации, с более сильным — жанр трагизации/романтизации и апокалиптический, как наиболее действенный из всех нарративных жанров.

Таким образом на теоретико-методологической основе культур-социологических концепций политической культуры и символических практик политического позиционирования символические стратегии можно интерпретировать как способ синхронизации символических структур политической памяти, содействующий развитию/блокированию политических ожиданий и оформлению качественно новых стратегий политического позиционирования. Исследование процессов становления стратегических нарративов с учетом особенностей символических репрезентаций профилей легитимации национальной памяти позволяет выявить ее стратегический потенциал и значимость тех или иных политических сценариев политического позиционирования.

В заключении уместно вспомнить теоретически насыщенные ремарки Лоуренса Фридмана о стратегии и стратегических нарративах [Freedman 2013: xvi, 621, 622]. Стратегия — это «всегда больше чем план», а способность действовать в условиях драматической непредсказуемости, когда конфликт конкурирующих сторон становится неизбежным. Стратегические нарративы тесно связаны с динамикой и спецификой коллективных представлений, характерных для тех или иных сообществ и возникают для прогнозирования будущего из настоящего, даже тогда, когда обосновываются прошлыми политическими событиями. Цель стратегического нарратива, полагал Л. Фридман, не только в том, чтобы

предсказать события, но и в том, чтобы убедить других действовать таким образом, чтобы они следовали предлагаемому курсу и участвовали в изменении реальности, которые могут быть весьма драматичными.

Литература

1. Алейников А. В., Мальцева Д. А. Стратегическая культура в обществе риска: концептуальные основания анализа // Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2019. Т. 35. Вып. 4. С. 634–647.
2. Завершинский К. Ф. Политическая культура как символическая «пересборка» политического // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2019. Т. 15. № 1. С. 88–107.
3. Завершинский К. Ф. «Патриотизм элит» как дискурсивное измерение символических структур национальной памяти // Власть и элиты. 2020. Т. 7. № 2. С. 77–96.
4. Богданов С. В. Стратегические коммуникации: концептуальные подходы и модели для государственного управления // Государственное управление. Электронный вестник. Вып. 61. Апрель 2017. С. 132–152. (<http://e-journal.spa.msu.ru>)
5. Гавра Д. П. Категория стратегической коммуникации: современное состояние и базовые характеристики // Век информации. 2015. № 3 (4). С. 229–233.
6. Филиппов А. Ф. Мобильность и солидарность. Статья первая // Sociologia: наблюдения, опыты, перспективы. Т. 2 / Под общ. ред. С. П. Баньковской. СПб.: Владимир Даль, 2015. С. 207–230.
7. Alexander J. C. Cultural pragmatics: social performance between ritual and strategy Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual / Eds. J. C. Alexander, B. Giesen, J. L. Mast. Cambridge University Press, 2006. P. 29–89.
8. Alexander J. C. Trauma: A Social Theory. Malden: Polity Press, 2012. 226 p.
9. Bottici C. Imaginal politics: images beyond imagination and the imaginary. New York: Columbia University Press, 2014. 258 p.
10. Colin S. Strategy and politics. New York, NY: Routledge, 2016. 178 p.

11. Freedman L. *Strategy: A History*. Oxford: Oxford University Press. New York, NY: Oxford University Press, 2013. xvi 751.
12. Giesen B. Noncontemporaneity, Asynchronicity and Divided Memories. In: *Time & Society*. 2004, vol. 13, no. 1, pp. 27–40.
13. Gill G. *Symbols and legitimacy in Soviet politics*. Cambridge: Cambridge univ. press. 2011. vi, 356 p.
14. Kirsten K. *Communicating Strategically in Government // The Routledge handbook of strategic communication/edited by Derina Holtzhausen, Ansgar Zerfass*. NY, L.: Routledge, 2015. P. 396–408.
15. Krumrey J. *The Symbolic Politics of European Integration*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2018. 250 p.
16. *New Leadership in Strategy and Communication. Perspective on Innovation, Leadership, and System Design / Editors Nicole Pfeffermann*. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2020. xvii+431.
17. Olick J. K. *The Sins of the Fathers: Germany, Memory, Method*. Chicago, London: The University of Chicago Press, 2016. 517 p.
18. Patterson M., Monroe K. R. *Narrative in Political Science // Annual Review of Political Science*. 1998. 1(1). P. 315–331.
19. Schmitt O. *When are strategic narratives effective? The shaping of political discourse through the interaction between political myths and strategic narratives // Contemporary security policy*. 2018. Vol. 39 (4). P. 487–511.
20. Shore C. *Building Europe: the cultural politics of European integration*. L., NY: Routledge, 2000. 258 p.
21. Stiegler, B. *The Age of Disruption Technology and Madness in Computational Capitalism / B. Stiegler*. Cambridge: Polity Press, 2019.
22. Williams M. C. *Culture and security: symbolic power and the politics of international security/ London: Routledge*, 2007. 172 p.
23. Schmitt O. *When are strategic narratives effective? The shaping of political discourse through the interaction between political myths and strategic narratives // Contemporary security policy*, 2018. 39 (4). P. 487–511.
24. Smith P. *Why War? The Cultural Logic of Iraq, the Gulf War, and Suez*. Chicago, London: The University of Chicago Press. 2005. x+254 p.

ГЛАВА 10. ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Российская Федерация является светским и поликонфессиональным государством. В нем насчитывается около 20 основных религиозных течений (всего около 70) и около 32 тысяч религиозных организаций. Этот факт, с одной стороны, говорит о демократических основаниях существования российского общества (реализация принципа свободы совести), с другой стороны — актуализирует вопросы стратегий государственно-конфессионального взаимодействия.

Появление структурных подразделений органов власти, занимающихся проблемами взаимодействия государства и религиозных объединений, принятие социальных доктрин российскими конфессиями свидетельствуют о том, что существует взаимное стремление государства, общества и конфессий к упорядочиванию религиозной жизни.

Исследователи кафедры государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС для определения взаимодействий государства с религиозными организациями используют

несколько терминов [Шахов 2003: 10–11]. Один из самых распространенных — *государственно-церковные отношения*. Достаточно очевидная проблема этого определения в том, что ни в исламских, ни в буддистских основах вероучения нет понятия «церковь». Соответственно, данное определение является неприемлемым для определения взаимоотношений между государством и нехристианскими религиозными организациями. Второй термин — *государственно-религиозные отношения* также является не совсем корректным из-за разнородности, разнопорядковости субъектов отношения, так как государство — это основной институт политической системы, а религия — особая форма мировоззрения. Взаимоотношения государства как института должны строиться не с мировоззрением, а с религией в институционализированной форме. Правильней всего использовать термин *государственно-конфессиональные отношения*. Данный термин представляется наиболее корректным по причине того, что в нем присутствуют два однородных и однопорядковых субъекта отношений: государство как институт и конфессия как институционализированная форма религии. Таким образом, под *государственно-конфессиональными отношениями* понимается «совокупность исторически складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей и взаимоотношений институтов государства, с одной стороны, и институциональных образований конфессий, с другой стороны» [Шахов 2003: 9].

В связи с принятием ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» в российскую научную литературу вошли такие понятия, как традиционные и нетрадиционные конфессии. Данное разделение породило не только неясность в определении понятий, но и определённую напряженность между российскими конфессиями. Помимо этого, в научной литературе термины «конфессия» и «религия» зачастую являются синонимами, такое возможно в редких случаях

и только если речь идет о каком-то конкретном религиозном направлении. Во всех остальных случаях данные термины стоит разделять.

В законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» под *традиционными конфессиями* понимаются конфессии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России (православие (христианство), ислам, буддизм, иудаизм и другие религии)¹. Причем признается особая роль православия в становлении и развитии духовности и культуры в Российской Федерации. Условно к *традиционным конфессиям* можно отнести православие, ислам, буддизм, иудаизм, а все остальные конфессии, существующие на территории России, — к нетрадиционным. В научной литературе часто между нетрадиционными конфессиями и новыми религиозными движениями (и/или новыми религиями) ставится знак равенства, что является не совсем верным. Е. Г. Балагушкин предлагает адекватное решение данного исследовательского затруднения: *не противопоставлять новые и нетрадиционные конфессии друг другу, а рассматривать первые как разновидность вторых* [Балагушкин 1999: 17]. Учитывая разнородность состава нетрадиционных конфессий, вышеупомянутый исследователь считает, что они представляют единую категорию, и дает такое определение: «нетрадиционные религии — типологическое явление иной религиозности, радикально отличающееся от традиционной для данного общества в рассматриваемый исторический период. Для них характерна интенсификация социальных функций религий, а часто и пропаганда новых социально-религиозных утопий обновленческой, оппозиционной либо альтернативной направленности, разработанных на основе радикально измененных (обычно нетрадиционных) вероучений» [Балагушкин 1999: 12]. Также этот ученый

¹ ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» № 125 от 26 сентября 1997 г. Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (проверено 15.04.2022).

утверждает, что в современном религиоведении пока нет разработанной типологии нетрадиционных религий, хотя и предложено много классификаций, учитывающих особенности их вероучения, обрядности, организационных форм [Балагушкин 1999: 12]. Исследователь дает свою типологию новых религиозных движений [Балагушкин 1999: 18], которую целесообразно привести:

1. *Обновленческие религиозные движения.* Религиозные движения данного типа предлагают новое осмысление социальных проблем, претендуя на неотложное, даже радикальное, их разрешение. Эти движения принадлежат к двум типам:

- Социально-антропологического перфекционизма. Религиям этого типа свойственна фетишизация различных факторов и условий действительности (от здоровья до пороков властных структур). Такие религиозные движения характеризуются двумя подтипами: фетишистским и оккультным.
- Сакрализация действительности. В этих религиях мистифицируются не отдельные элементы земной жизни, а считается, что вся действительность должна проникнуться сакральным началом, чтобы измениться к лучшему. Этот тип религиозных движений также делится на два подтипа: либо упование на сакральный образ жизни, либо на божественного спасителя.

2. *Оппозиционные религии.* Данное направление НРД характеризуется, прежде всего, отчужденным отношением к миру, непримиримым противоборством с ним, либо стремлением подчинить его противоположным сакральным приоритетам, отказавшись от богопочитания и установив культ дьявола. Иначе эти религии называют мироборческими и богоборческими. В этих религиях адепты либо уходят от реальности в мир фантазии, либо стремятся противостоять неблагоприятному воздействию окружающего мира с помощью магии и колдовства, либо стараются заручиться поддержкой

определенных сакральных субъектов, вера в которых связана с совершенно иными религиозными традициями (культ дьявола), либо наиболее радикально настроенные представители оппозиционных религий проповедуют осмысление действительности и решение проблем современного мира, принципиально изменив вектор своих сакральных ориентаций, т. е. устанавливают прямо противоположные сакральные приоритеты в сравнении с принятыми в традиционных религиях (например, Церковь Сатаны).

Нередко в литературе и СМИ под новыми религиозными объединениями в современном обществе подразумеваются секты. Почти все типологии, которые можно найти в печатных и интернет-источниках, определяются авторами как условные, поскольку новые религиозные движения, включая секты, являются, во-первых, очень мобильными (то появляются, то исчезают), во-вторых, в доктрине одной организации могут сразу же содержаться несколько основных постулатов, относящихся к разным религиозным течениям [Здоровец, Мухин 2005: 130]. В научной литературе, как и в законодательстве РФ, существует недоработка в определении понятия «секта». Религиоведы утверждают, что к данному понятию необходимо относиться с особой осторожностью, так как в религиоведческой науке использование данного термина не приветствуется.

Для полного представления о российском поликонфессиональном портрете необходимо представить *классификацию* современных религиозных российских сект Я. И. Здоровца и А. А. Мухина [Здоровец, Мухин 2005: 130—192]:

1. Секты псевдохристианской направленности («Семья», Церковь Последнего Завета (Виссарионовцы), Церковь Святой Богородицы Преображающейся («Богородичный Центр»), Растафари (растаманы)).

2. Псевдовосточные религиозные течения (Центр обществ сознания Кришны, Миссия Чайтаньи «Институт знания

о тождественности», Шри Чайтанья Сарасват Матх, «Тантра-Сангха», Церковь Врожденной Драгоценности, «Аум Сенрике», Фалунь Дафа, Духовное Собрание Бахаи России).

3. Окультизм «New Age», Великое Белое Братство («ЮСМАЛОС»), Саентологическая Церковь Москвы и др. городов, Международный Центр Космического Сознания (Разума), Академия Золотова.

4. Общины неоязыческого толка (Удмурт Вось, Кут-Сюр, Русское неоязычество, Московская славянская языческая община, Союз Славянских Общин Родной Старой Веры (ССО РСВ), Бажовское движение, Анастасия).

5. Мистические ультраправые организации (Белый Лотос, «Новый Акрополь»).

6. Магические учения, неошаманизм (Вуду, Кастанедианцы или кактусианцы).

7. Культы сатанинской направленности («Черный Ангел», «Черный Дракон», «Южный Крест» (Московская Церковь Сатаны), «Церковь Великой Белой Расы» (Церковь Нави), Крысятницы).

8. Коммерческие культы (Свидетели Иеговы, Церковь Иисуса Христа последних дней (мормоны), «Церковь объединения», Многоуровневый маркетинг «Гербалайф», «Церковь Саентологии», воззвание Махашриши Махеш Йоги, Организация, возглавляемая Г. П. Грабовым).

Учитывая многообразие религиозных организаций на территории РФ, стратегическое развитие страны, а также особенности государственного управления, целесообразно перейти к определению модели государственно-конфессиональных отношений, которая существует в современной России.

Одну из типологий государственно-конфессиональных отношений предложили ученые кафедры государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС.

В данной типологии группы выделяются *по признаку соотношения светского и религиозного компонентов* в политической

системе государства. Исследователями выделяются 6 групп [Шахов 2003: 160–163]:

1. Страны с теократической формой правления (например, Саудовская Аравия, Иран и т. д.), в которых светское и религиозное право совпадают, религиозный лидер является и главой государства. В таких странах главенствующая религия становится религиозным монополистом, иные религии и верования либо ограничиваются в правах, либо преследуются и искореняются всеми способами.

2. Государства с официальной атеистической, коммунистической идеологией (Китай, Северная Корея, бывший СССР) находятся на противоположной стороне от предыдущей группы стран. Здесь отделение религиозных объединений от государства является исходной точкой, необходимой предпосылкой для выстраивания модели государственно-конфессиональных отношений, при которой светская власть диктует религиозным объединениям их права и обязанности во всех сферах жизни социума. Несмотря на то что в конституциях и законах таких стран декларируется, как правило, светскость, предполагающая нейтральное отношение к религии, отделение религиозных объединений от государства, закрепляется право на свободу совести, фактически политика государства направлена на искоренение существующих на его территории исконных верований и недопущение появления новых религиозных групп и движений.

3. Секулярные, светские поликонфессиональные государства находятся в промежуточном положении по отношению к вышеописанным системам. В конституциях таких государств закреплены положения о светском характере государства, об отделении религиозных объединений от государства, о равенстве всех религиозных объединений перед законом, о праве граждан на свободу совести и свободу вероисповедания. При формальном дистанцировании от религиозных объединений и юридическом равенстве в правовом поле

всех религиозных организаций государство все-таки, как показывает практика, может допускать и даже поддерживать определенную активность конфессий, имеющих историко-культурные корни в жизни народов данного государства, и ограничивать, порой даже очень жестко, распространение новых и нетрадиционных для данной страны религиозных движений (США, Украина, Белоруссия).

4. Страны, основывающиеся на принципе отделения религиозных организаций от государств и закрепляющие при этом юридические различия в статусе, реальных правах, возможностях деятельности на своих территориях для тех или иных конкретных религиозных объединений. Такие страны декларируют свою светскость и не имеют государственной религии, но в действующем законодательстве регламентируют и дифференцируют положение различных конфессий в правовом поле достаточно жестко и поддерживают традиционные, или преобладающие по численности сторонников, религии и ограничивают некоторые малоизвестные религиозные группы и движения (Германия, Франция, Испания, Австрия, Италия, страны Прибалтики, возможно, Швеция после 1 января 2000 г.).

5. Крайней формой дифференциации является юридическое закрепление в правовом поле понятие «государственная», «преобладающая», «поддерживаемая государством» церковь (или церкви). Государства, определяющие в своей конституции отказ от принципа отделения религиозных объединений от государства, закрепляющие соответствующий статус «господствующей религии», «преобладающей», или «традиционной» для данного народа церкви, находятся на позиции, которая по внешним формальным признакам может быть воспринята как однозначная, сдвигающаяся в сторону теократических систем выстраивания государственно-конфессиональных отношений. Однако исследование содержания и опыта реализации законодательств этих стран показы-

вает, что при сравнительно схожих формулировках закона реальное положение тех или иных церквей, более глубоко определяемое конкретными законами и подзаконными актами государства, может значительно различаться. Прежде всего, данные различия касаются реальных возможностей той или иной церкви влиять на внешнюю и внутреннюю политику государства, выстраивать, регулировать при опоре на государство отношения с иными, в том числе конкурирующими, конфессиями. Здесь можно увидеть весь спектр возможных моделей государственно-конфессиональных отношений: от полного либерализма до борьбы с инаковерием (Англия, Швеция (до 2000 г.) Греция, Болгария, Аргентина, Израиль, Армения, Монголия и др.).

6. К данной группе относятся Россия и некоторые страны ЦВЕ, в которых исторический путь может быть сопоставим с российским (например, Польша). При этом наибольший интерес представляет опыт стран, имеющих вековую историю главенствующего положения определенной религии, прошедших этап секуляризации и на сегодняшний день сумевших создать такую систему государственно-конфессиональных отношений, при которой не умаляется культурно-историческое значение традиционной церкви, соблюдаются права всех остальных конфессий, а государственное регулирование достаточно эффективно. Эффективность предполагает поддержку государством всех тех инициатив религиозных объединений, которые направлены на оздоровление нравственности населения, опеку социально уязвимых его слоев, укрепление нравственности и правопорядка. Данное положение подразумевает возможность государства не допускать со стороны религиозных объединений действий, направленных на подрыв его устоев, обеспечение профилактической работы в этом направлении.

Если условно разделить государства на две большие группы: конфессиональные и светские, то первые будут делиться на

теократию и государственную церковь, а вторые — на сегрегационный, сепарационный и кооперационный тип. Испанский профессор Г. Моран выделяет два типа взаимодействия государства и религиозных организаций [Моран 1996: 91]:

1. *Сепарационный тип*. При нем никакого специального законодательства не создается, воздвигается стена между государством и религиозными объединениями, религия вытесняется из всех сфер деятельности государства. Такая практика обеспечивает равенство религий перед законом, но в то же время ограничивает права практически всех конфессий, утверждает секуляризм во всех сферах государственной жизни.

2. *Кооперационный тип*. Действуют два источника правового регулирования: конституционные нормы с текущим законодательством, а также соглашения и договоренности с церквями и религиозными организациями, не противоречащие действующему законодательству.

Сегрегационный тип, в контексте современного российского опыта, нам менее интересен, но учитывая историю РФ, необходимо о нем упомянуть. Хрестоматийный пример — это взаимоотношения государства и религиозных организаций в СССР (атеистическое государство). В соответствии с декретами и Конституциями Советского государства религиозные организации были отделены от государства, декларировался принцип свободы вероисповеданий. Однако если проанализировать историю России в XX веке, то станет понятно, что все это было де-юре. Де-факто государство вытесняло религию из всех сфер жизни общества.

Россия из-за своей уникальной государственно-конфессиональной, межконфессиональной и общественной ситуации не попадает ни в один из указанных Г. Моран типов, но тяготеет к кооперационной модели государственно-конфессиональных отношений.

В пределах кооперационной модели существуют три вида правового положения религиозных объединений: *статус*

государственной церкви; договорные (консенсуальные) отношения, статус официально признанных (традиционных) конфессий.

Определяя стратегию/политику в сфере взаимодействия государства и религиозных организаций, можно столкнуться со следующими терминами: государственная конфессиональная политика, государственная религиозная политика и государственная вероисповедная политика. Несмотря на то что в большей части научной литературы они являются тождественными, это не так. Если мы говорим о светском государстве, то последнее не имеет права вести *религиозную политику*. Под *государственной вероисповедной политикой* понимается «часть политики государства в сфере свободы совести и вероисповеданий, а именно система действий государства, включающая целеполагание, правовое обоснование, комплекс организационно-практических мер: по обеспечению свободы совести и вероисповедания человека и гражданина (каждого); по созданию необходимых условий для удовлетворения религиозных потребностей; по регулированию деятельности религиозных организаций в качестве субъектов публичного права в той части, которая выходит за рамки канонического устройства и культовой практики и в силу этого становится общественной деятельностью; по осуществлению сотрудничества с ними в решении социально- и государственно-значимых проблем; по достижению межрелигиозного и межконфессионального мира» [Шахов 2005: 9]. Основная цель государственной политики в сфере отношений с религиозными объединениями заключается в *реализации права на свободу совести и вероисповедания*. В свою очередь *конфессиональная политика* государства подразумевает под собой действия, направленные на регулирование отношений с религиозными организациями. Последний термин представляется наиболее корректным.

Почти все крупные религиозные организации имеют свои социальные доктрины. Это обусловлено тем, что во многих

демократических государствах церковь (в широком смысле слова) является неотъемлемым институтом гражданского общества. Поэтому, кроме истолкования основ вероучений, представителям этих конфессий необходимо объяснять круг мирских проблем. В такого рода документах особенно много внимания уделяется государственно-конфессиональным и межконфессиональным отношениям, принципам свободы совести и справедливости, толерантности, вопросам отношения с другими конфессиями (инославием), а также вопросам брака и семьи, нравственности, политическим проблемам и т. д. «Особенность социальных доктрин христианских направлений состоит в том, что они не существуют как отдельные теоретические дисциплины, а представляют расширительно толкуемую этику, нормы которой предписывается реализовывать в той или иной сфере общественной жизни» [Мчедлов 2002: 13].

В социальных доктринах российских конфессий можно четко выделить несколько принципов государственно-конфессионального и межконфессионального взаимодействия.

Основные принципы государственно-конфессионального взаимодействия:

1. Отделение государства от церкви и невмешательство в дела друг друга.
2. Светскость государства.
3. Принцип свободы совести и вероисповедания.
4. Равенство всех конфессий перед законом и др.

Основные принципы межконфессионального взаимодействия:

1. Принцип свободы совести и вероисповедания.
2. Уважение к другим конфессиям.
3. РПЦ отдельно выделяет принцип догматической принципиальности и братской любви.
4. Принцип терпимости и / или толерантности и др.

Толерантность и принцип свободы совести входят с систему демократических ценностей современного российского государства. В контексте государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений понятие толерантности приобретает особую важность. Российским законодательством определено, что «религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом» (ст. 14)¹. В Конституцию РФ введено понятие равенства, говорящее о том, что российские конфессии без участия государства вынуждены искать возможные варианты конструктивного диалога и сотрудничества между собой.

«Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность — это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность — это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира»². Так трактуется понятие толерантности в «Декларации принципов толерантности». Такая его трактовка, на сегодняшний момент, является одной из самых цитируемых. Важно отметить то, что в научной литературе часто синонимом понятия «толерантность» является термин «терпимость». В свою очередь, соглашаясь с мнением П. М. Мчедлова, что терпимость не полностью соответствует понятию толерантности и несколько сужает смысл последнего, считаем, что понятия религиозной

¹ «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/? (проверено 15.04.2022).

² Декларация принципов толерантности. <http://www.prpc.ru/document/tolerant.shtml> (проверено 15.04.2022).

толерантности и веротерпимости не следует отождествлять. Терпимость есть своего рода снисхождение к чужому мировоззрению, позициям, обычаям, взглядам и т. д., «позиция свысока». Толерантность как раз подразумевает под собой не снисходительность, а именно доброжелательность к другому мировоззрению, обычаям и нравам, а главное — готовность к *уважительному диалогу и сотрудничеству*. Таким образом, *религиозная толерантность* — это взаимная *доброжелательность* представителей различных конфессий по отношению друг к другу и их готовность к межконфессиональному диалогу и сотрудничеству. Религиозная толерантность возможна при уважительном отношении конфессий друг к другу, при реализации принципа свободы совести и при обоюдном желании последователей различных религий взаимодействовать.

Под *веротерпимостью* понимается «практика допущения существования в государстве, наряду с господствующей, и других религий, количество которых обычно жестко регламентировано. Приверженцы этих религий, как правило, не имеют равных прав с теми, кто исповедует господствующую религию» [Стецкевич 2006: 9]. Таким образом, следует сделать вывод, что веротерпимость может присутствовать при наличии даже господствующей религии и жесткой регламентации количества религиозных объединений, а толерантность, как более широкое понятие, больше присутствует в такой модели межконфессиональных отношений, где все конфессии имеют одинаковый статус. М. С. Стецкевич определяет понятие религиозной толерантности так: «1) терпимые, взаимоуважающие отношения между верующими различных религий, религиозными объединениями, верующими и неверующими, строящиеся на принципе взаимного признания права на существование и деятельность; 2) признание государством права на существование различных религий, наряду с господствующей (если она есть. — *Прим. автора*)» [Стецкевич 2006: 9]. Если толерантность не есть веротерпимость, то:

первая часть данного определения более близка к понятию религиозной толерантности, а вот вторая отражает понятие веротерпимости, в котором государство терпимо относится к наличию различных конфессий на своей территории.

Когда речь идет о принципе толерантности в области взаимоотношений религиозных организаций, то имеется в виду *межконфессиональный диалог*, достижение согласия между конфессиями, взаимное сотрудничество. Современные философы считают, что диалог может состояться только в том случае, если участники диалога признают друг в друге не очередной объект использования, а равноправную самоценную личность, которая может быть носителем истины и ценностей. По мнению Н. Г. Карповой и И. Н. Степановой, диалог представляет такой способ общения индивидов, при котором личности оказываются заинтересованными друг в друге, поскольку обнаруживают, что руководствуются в своих взаимодействиях общими принципами, близкими духовными ценностями. У индивидов, вступающих в диалог, обязательно должна быть духовная солидарность. Диалог как раз и формирует понятие толерантности. Между диалогом и толерантностью есть глубокая связь: сущностные характеристики диалога и толерантности оказываются общими; диалог является одной из универсальных форм бытия толерантности как в самом человеке, так и по отношению к другим [Карпова, Степанова 2003: 39–46]. Я. А. Афанасенко считает, что диалог как раз призван решить проблему толерантности. Основа межконфессионального и гражданского согласия и диалога — *вероуважение*. Оно ведет к *сотрудничеству*, которое направлено на защиту всех граждан, а также способствует сохранению и укреплению мира в демократическом обществе [Афанасенко 2003: 144–145]. Диалог в религии может быть на двух уровнях: общение человека с Богом и *межконфессиональный диалог*. Интересен второй вид диалога. Важно учесть, что многие

религиозные организации в своих социальных доктринах отметили желание вести диалог с другими конфессиями. М. П. Мчедлов выделяет несколько уровней межконфессионального диалога:

- между институционализированными вероисповедными сообществами (принадлежащими к разным религиям, либо внутри одной религии);
- между представителями разных вероисповеданий;
- между культурно-конфессиональными общностями, сложившимися на базе различных религиозных традиций [Мчедлов 2004: 176].

Далее тот же автор дает определение межконфессионального диалога в узком и широком смысле. В узком смысле межконфессиональный диалог — это взаимодействие двух религиозных систем на доктринальном уровне (и иных уровнях¹), требующих сознательной установки, концептуальной разработки и институционального оформления. В широком смысле межконфессиональным диалогом (точнее, культурно-конфессиональным) можно назвать историю многообразных связей, включающую как периоды острой конфронтации, так и этапы взаимной солидарности между устойчивыми культурно-историческими общностями (локальными цивилизациями), которые существуют в определенных пространственно-временных координатах.

Межконфессиональный диалог имеет несколько видов:

1. *Доктринальный* (богословский) диалог имеет особое значение для институционально оформленных вероисповедных сообществ. М. П. Мчедлов утверждает, что этот диалог становится особенно острым, когда одна из религий, например, объявляет свое вероучение вселенским и абсолютным для всех. Доктринальный диалог является одним из трудных, потому что сближение вероучений, даже близкородственных,

¹ Дополнение автора.

как, например, православие и католицизм, является чаще всего безуспешным.

2. Межконфессиональная взаимопомощь и сотрудничество без доктринального сближения является таким видом межконфессионального диалога, который называется *институциональным*. Именно здесь целесообразно говорить о возможности заключения *межконфессиональных соглашений* (об этом виде сотруднической формы межконфессиональных отношений см. во гл. 2).

Третий вид межконфессионального диалога называется «*молекулярный экуменизм*»: «человек, искренне приверженный собственной религиозной традиции, ценит и уважает “«подобную крепость в вере” у иноверца» [Мчедлов 2004: 179]. Некоторые исследователи считают, что именно на этом пути возможно духовное единение между приверженцами различных религий, учитывая то, что доктринальные различия при этом не снимаются. Однако уважение к иноверцу за приверженность к своей вере может открыть путь к созидательному диалогу и укрепить себя в своей вере. Это подход позволяет налаживать межконфессиональные отношения уже на личностном уровне. Таким образом, элементом религиозной толерантности может быть и личная толерантность, которая уже на уровне сознания будет укоренять принцип толерантности.

Учитывая тенденции глобализации, актуальным становится цивилизационный диалог, «на данном уровне доктринальное противостояние религий и межличностные отношения их приверженцев находят свое специфическое проявление, накладывая отпечаток на характер бинарной оппозиции “мы — они”, складывающейся в процессе формирования цивилизационной идентичности» [Мчедлов 2004: 179].

Теперь целесообразно перейти к принципу *свободы совести и вероисповедания*, на основе которого координируются государственно-конфессиональные и межконфессиональные отношения в современной России.

Конституционный принцип свободы совести является не менее важным в контексте государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений, чем принцип толерантности. *Он является гарантом религиозной свободы, а также основой межрелигиозного согласия и сотрудничества.* Принцип свободы совести и вероисповедная в 28-й статье Конституции РФ звучит так: «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними»¹. М. С. Стецкевич определяет свободу совести как «право каждого человека на свободный мировоззренческий выбор, определения отношения к религии, включая право иметь, менять, распространять как религиозные, так и не религиозные убеждения при исключении каких-либо преимуществ или ограничений в пользовании гражданскими правами в зависимости от этого отношения» [Стецкевич 2006: 6]. Мы видим, что эта трактовка понятия свободы совести более широкая, чем в Конституции РФ. М. С. Стецкевич правомерно акцентирует внимание на отделении друг от друга понятий свобода совести и свобода вероисповедания, которые часто отождествляют. Свобода вероисповедания — это религиозная составляющая понятия свободы совести. Одним из составляющих элементов свободы совести является религиозная (вероисповедная) свобода, под которой понимается: «1) право религиозных организаций на самостоятельные, без непосредственного вмешательства и контроля со стороны государственной власти, управле-

¹ «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/? (прочтено 15.04.2022).

ния и деятельность; 2) в более широком смысле — право на исповедание любой религии» [Стецкевич 2006: 9].

Как правильно замечает Г. Г. Черемных: свобода совести — составная часть правового статуса человека и гражданина, одна из его непоколебимых индивидуальных свобод, получающих правовое закрепление в любом демократическом государстве [Черемных 1999: 4]. Появление принципа свободы совести в реальном виде, а не только декларируемом, стало возможно в связи с принятием закона «О свободе вероисповеданий» в 1990 г., но его полное присутствие и утверждение в российском обществе стало возможным после принятия Конституции 1993 г. Именно отделение конфессий от государства является самой главной гарантией свободы совести и вероисповедания в России.

М. С. Стецкевич в своей книге приводит элементы свободы совести, из которых десять определил А. С. Ловинюков и два определили В. В. Кравчук и Н. А. Трофимчук. Они таковы: право исповедовать любую религию; право совершать религиозные обряды; право менять религию; право не исповедовать никакой религии; право пропаганды религии (миссионерство); право вести атеистическую пропаганду; право на благотворительную деятельность; право на религиозное образование; культурно-просветительская, религиозная деятельность; равенство перед законом всех граждан независимо от отношения их к религии; невмешательство государства во внутренние дела религиозных объединений; невмешательство религиозных объединений в дела государства.

В контексте стратегий взаимодействия государства и религиозных организаций целесообразно проанализировать работу структурных подразделений органов власти, которые занимаются регулированием государственно-конфессиональных (прямо) и межконфессиональных отношений (опосредованно).

Первый такой орган — *Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации*.

Положение о Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации утверждено распоряжением Президента РФ от 2 августа 1995 г. № 357-рп (с изменениями, внесенными распоряжением Президента РФ от 17 марта 2001 г. № 133-рп). Основными функциями Совета являются обеспечение взаимодействия Президента с религиозными объединениями и содействие укреплению общественного согласия, взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания¹. Если рассмотреть подробнее, то данный Совет выполняет ряд функций²: обеспечение взаимодействия Президента Российской Федерации с религиозными объединениями; содействие укреплению общественного согласия, достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания.

Совет решает следующие задачи³: представляет Президенту Российской Федерации аналитические материалы и доклады, рекомендации по вопросам политики Президента Российской Федерации в области взаимоотношений государства и религиозных объединений; обсуждает проекты федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих взаимоотношения государства и религиозных объединений, и готовит соответствующие предложения Президенту Российской Федерации; изучает проблемы, связанные с поддержанием межконфессионального диалога, достижением взаимной терпимости и уважения в отношениях между представителями различных

¹ Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. <http://www.kremlin.ru/structure/councils/#institution-17> (проверено 15.04.2022).

² Там же.

³ Там же.

вероисповеданий; анализирует зарубежное законодательство и практику взаимоотношений между государством и религиозными объединениями, поддерживает контакты с соответствующими структурами иностранных государств; публикует справочные и информационно-аналитические материалы по вопросам, входящим в компетенцию Совета. Для осуществления своих функций Совет имеет право¹: запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, научных учреждений и организаций и их должностных лиц необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета; пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации Президента Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти; обращаться за получением информации к общественным и религиозным организациям; использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникации; привлекать в установленном порядке к работе научные учреждения, отдельных учёных и специалистов, в том числе на договорных началах. Состав Совета утверждается Президентом Российской Федерации. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Совет вправе приглашать на свои заседания представителей религиозных объединений, не входящих в его состав, а также представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений, научных учреждений и организаций. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует более половины членов Совета. Руково-

¹ Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. <http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-17> (проверено 15.04.2022).

дит заседаниями председатель Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации либо по его поручению заместитель председателя Совета. Решения Совета принимаются не менее чем двумя третями голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Обеспечение деятельности Совета осуществляет Управление Президента Российской Федерации по внутренней политике. Состав участников совета представляется весьма интересным (данные на 15 апреля 2022 года): Вайно А. Э., Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (председатель Совета); Ярин А. В., начальник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике (заместитель председателя Совета); Аюшеев Д. Б., Пандито Хамбо лама, глава Буддийской традиционной сангхи России; Бердиев И. А., муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа; Брауэр Д. Б., архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви; Гайнутдин Равиль (Гайнутдинов Р. И.), муфтий, председатель Совета муфтиев России; Гончаров О. Ю., пастор, первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона (отделения) Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня; Дионисий (Порубай П. Н.), митрополит Воскресенский, управляющий делами Московской патриархии; Езрас (Нерсисян М. Г.), архиепископ, глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви; Иларион (Алфеев Г. В.), митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата; Клямко А. С., заместитель председателя Российского совета Древлеправославной поморской церкви; Ковалевский И. Л., священник, генеральный секретарь Конференции католических епископов России; Козлов М. Е., протоиерей, председатель Учебного комитета Русской православной церкви; Козырев А. П., исполняющий обязанности декана философского факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»; Корнилий (Титов К. И.), митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви; Кропачев Н. М., ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; Кудрявцев А. И., председатель совета Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация защиты религиозной свободы»; Лазар Берл (Лазар Пинхос Берел), главный раввин России; Легойда В. Р., председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви; Ряховский С. В., начальствующий епископ Российского объединённого союза христиан веры евангельской (пятидесятников); Таджуддин Талгат (Таджуддинов Т. С.), председатель (Верховный муфтий) Центрального духовного управления мусульман России; Третьяков А. В., референт Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике (ответственный секретарь Совета); Филиппов В. М., председатель Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

Как мы видим, состав Совета является достаточно любопытным. Если сравнивать с советом 10-летней давности, в котором закономерно представлены все четыре традиционные конфессии, с перевесом представителей от РПЦ, то в ныне существующем есть попытка представить интересы большего количества конфессий. В ходе заседаний Совета обсуждаются следующие вопросы: международное направление деятельности Совета; оказание гуманитарной помощи населению Сирии; взаимодействия религиозных организаций с МИД России по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, прав верующих на Ближнем Востоке, Украине, в других

регионах мира; о конкретных формах взаимодействия религиозных деятелей с государством в реализации молодёжной политики; о развитии теологического образования и науки в России и оказании решения о включении теологии в номенклатуру научных специальностей; о развитии социального служения и благотворительной деятельности религиозных организаций; о роли России в защите прав верующих в современном мире; о совершенствовании совместной деятельности государственных органов и духовенства по гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений; о роли религиозных организаций в сохранении духовной и культурной идентичности народов России и их вклад в реализацию государственной политики в области адаптации мигрантов; о совместно с органами государственной власти эффективной работе по адаптации мигрантов в культурное, ценностное, языковое, правовое поле России; о партнёрстве и сотрудничестве между традиционными религиями в России; вопрос о перспективах и направлениях российско-китайского сотрудничества в религиозной сфере; о провокационных преступлениях, направленных против религиозных чувств людей: вандализм в храмах, террористические акты, попытки запугать священнослужителей; о принятии поправок в законодательство, направленных на усиление ответственности за оскорбление религиозных чувств верующих, осквернение предметов религиозного почитания, мест религиозных обрядов и церемоний; о расширении практики разработки справочных и методических материалов, разъясняющих особенности распространённых в России конфессий, их религиозной практики и морально-этических правил; о введении в Вооружённых Силах института воинских и флотских священнослужителей; о взаимодействии государства и религиозных объединений в сфере работы с осуждёнными; о взаимодействии государства и религиозных объединений в сфере образования и науки; о реализации в четвёртых классах учебного курса «Основы

религиозных культур и светской этики»; о деятельности по предупреждению и разрешению межнациональных и межрелигиозных конфликтов; о стратегии развития российской идентичности и её региональный аспект, а также «русский вопрос» и так далее.

Второе структурное подразделение, регулирующее государственно-конфессиональные отношения, это — *Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации*. Комиссия начала свое существование после принятия Положения о Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации, которое было утверждено постановлением Правительства РФ № 820 от 9 июля 1994 г. В состав комиссии входило 28 человек. Комиссия является координационным органом, образованным для рассмотрения вопросов, возникающих в сфере взаимоотношений государства и религиозных объединений. Деятельность Комиссии направлена на обеспечение согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти и организаций по реализации положений законодательства Российской Федерации, касающихся свободы совести, свободы вероисповедания, гарантий прав человека и гражданина независимо от отношения к религии, а также светского характера государства и на оказание содействия межрелигиозному диалогу в интересах консолидации российского общества. Основными задачами Комиссии являются: подготовка предложений по урегулированию вопросов, связанных с деятельностью религиозных объединений и требующих решения Правительства Российской Федерации; информационно-аналитическое обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации по вопросам, затрагивающим сферу взаимоотношений государства и религиозных объединений; координация деятельности органов исполнительной власти в сфере взаимоотношений с религиозными объединениями. В контексте реализации принципа свободы

совести необходимо обратить внимание на важный документ «О порядке проведения государственной религиоведческой экспертизы» (утверждено постановлением Правительства РФ от 3 июня 1998 г. № 565). В нем зафиксировано, что «государственная религиоведческая экспертиза (далее именуется — экспертиза) в соответствии с пунктом 8 статьи 11 Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях” проводится по решению регистрирующего органа при регистрации централизованной... или местной религиозной организации, не имеющей подтверждения о вхождении в централизованную религиозную организацию того же вероисповедания, выданного централизованной организацией, в случае возникновения у регистрирующего органа необходимости проведения дополнительного исследования на предмет признания организации в качестве религиозной и проверки достоверности сведений относительно основ ее вероучения и соответствующей ему практики» [Пчелинцев, Ряховский 2006: 310—312]. Основными задачами экспертизы являются [Пчелинцев, Ряховский 2006: 310—312]: определение религиозного характера регистрируемой организации на основании представленных учредительных документов, сведений об основах ее вероучения и соответствующей ему практики; проверка и оценка достоверности сведений, содержащихся в представленных религиозной организацией материалах, относительно основ ее вероучения. На основе этого Постановления образуются экспертные советы, которые будут проводить религиоведческую экспертизу. «В экспертные советы входят работники органов государственной власти, специалисты в области религиоведения, отношений государства и религиозных объединений. В качестве консультантов к работе экспертного совета могут привлекаться специалисты, не являющиеся его членами, а также представители религиозных организаций» [Пчелинцев, Ряховский 2006: 310—312]. Орган, который проводит регистрацию,

в своем запросе на проведение религиоведческой экспертизы должен обосновать необходимость ее проведения, а также четко определить вопросы, которые требуется оценить экспертам. Экспертный совет, в свою очередь, «имеет право запрашивать от органов исполнительной власти, общественных и религиозных организаций информацию, необходимую для проведения экспертизы по вопросам, находящимся в их ведении» [Пчелинцев, Ряховский 2006: 310–312]. Сейчас действует новый Приказ Минюста РФ от 18.02.2009 № 53 «О государственной религиоведческой экспертизе». Это обусловлено тем, что нормативная база в данном направлении совершенствуется.

Следующим органом, регулирующим конфессиональную сферу жизни общества, является *Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, ранее — по делам общественных объединений и религиозных организаций*. В ситуации общего политического и общественного дисбаланса после распада СССР для разработки законодательства, касающегося государственно-конфессиональных отношений, возникла необходимость создания в российском парламенте комитета, который занимался бы регулированием религиозной сферы жизни общества в Российской Федерации. Отдельный комитет не был образован, но был создан Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций, ныне переименован (см. выше). Он является одним из ведущих комитетов в нижней палате парламента. Его деятельность направлена на создание правовых основ функционирования и деятельности институтов гражданского общества.

Основными направлениями работы Комитета в конфессиональной сфере являются: правовое регулирование процесса образования, функционирования и развития такого

социального института, как религиозные организации; сотрудничество с представителями религиозной общественности; осуществление совместных проектов по религиозной тематике с Полномочным Представителем Президента РФ в Центральном Федеральном округе; участие в работе Совета по взаимодействию с религиозными организациями при Президенте РФ, Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ, участие в заседаниях Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) и проводимых ею международных конференциях, подготовке документов и заседаний международного Секретариата и других высших органов МАП, организация и проведения парламентских слушаний, круглых столов, семинаров, касающихся религиозной сферы РФ.

В комитете разработано достаточное большое количество законов, из них часть принята Государственной думой. Наиболее важными для государственно-конфессиональных отношений являются два закона: ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»¹, он уникален тем, что впервые в России были законодательно закреплены правовые основы благотворительной деятельности; ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»² является ключевым законом, разграничивающим сферы деятельности государства и религиозных организаций, а также определяющим взаимоотношения между двумя этими акторами и обществом. 28 февраля 2008 года № 14-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об образовании” и статью 19 Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях”

¹ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83777/3e82feb052a80e2dc03247fbc682fb489ec8e42/? (проверено 15.04.2022).

²ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/? (проверено 15.04.2022).

расширены правовые возможности для интеграции учреждений профессионального религиозного образования в систему образования Российской Федерации.

В Государственной Думе Российской Федерации за последние три года:

- Прошли выставки: «Духовные ценности России. Взгляд сквозь время», «Культурное наследие России. Сохранение духовных традиций», «Россия: люди и вера в истории и современности», «Пасхальная радость»; «Россия в мировой цивилизации. Уроки истории», «Красота Божьего мира».
- Состоялась встреча парламентариев с Председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата В. Легойдой.
- Проведены конференции: «Дебаты по вопросам взаимоотношений государства, общества и религиозных организаций»; «Роль традиционных религий в развитии гражданского общества»; «Религия. Общество. Государство» (Совершенствование законодательства о религиозных организациях); «Роль общественных объединений в укреплении межнационального и межконфессионального мира и согласия в Российской Федерации».

Далее важно упомянуть о системе источников правового регулирования религиозной сферы:

1. *Общепризнанные нормы и принципы международного права и международные договоры РФ.*

2. *Основной Закон РФ — Конституция.* На ней нужно остановиться подробнее. В 13-й статье Конституции «...запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание

социальной, расовой, национальной и религиозной розни»¹. Таким образом, мы находим подтверждение норм международного права в российском законодательстве. «Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (ст. 14.1)². Это положение является одним из самых главных в контексте выбора стратегий взаимодействия государства и религиозных организаций: во-первых, оно говорит о том, что государство прямо не может вмешиваться в координацию межконфессиональных отношений; во-вторых, при всем привилегированном положении РПЦ, она не является государственной церковью. «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности» (ст. 19.2)³. В данной статье мы опять видим отражение международных стандартов прав и свобод гражданина. «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» (ст. 28)⁴. Здесь важно отметить, что Конституцией

¹ «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/? (проверено 15.04.2022).

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

РФ, помимо права исповедовать любую религию, вводится право не исповедовать никакую религию. Это говорит, с одной стороны, о наследии прошлого (СССР), а с другой стороны, РФ признает право быть атеистом наравне с верующими людьми. Далее интересным представляется конституционная норма, отраженная в статье 56.1: «...в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия»¹, но пункт 3 этой статьи говорит, что «...не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46–54 Конституции Российской Федерации»². Таким образом, даже при чрезвычайном положении в стране государство *не имеет права ограничить свободу совести и вероисповедания*.

3. Законодательные акты, принятые для регулирования правоотношений в области прав человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания, а также правового положения религиозных организаций. В нашей стране это, прежде всего, Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Данный закон постатейно разобран во многих научных источниках. Хотелось бы обратить внимание, учитывая тематику главы, только на некоторые статьи. Преамбула данного закона завуалированно определяет 4 ведущие традиционные конфессии (православие, ислам, буддизм, иудаизм), но составители закона дополняют, что помимо этих 4 конфессий существуют и другие, которые составляют неотъемлемое наследие исто-

¹ «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/? (проверено 15.04.2022).

² Там же.

рии России. В Законе подтверждаются нормы Конституции РФ относительно свободы совести, светскости российского государства и т. д. «Создание религиозных объединений в органах государственной власти, других государственных органах, государственных учреждениях и органах местного самоуправления, воинских частях, государственных и муниципальных организациях запрещается» (ст. 6.3) [Пчелинцев, Ряховский 2006: 59–73]. Законом религиозные объединения разделены на религиозные группы и религиозные организации. Разница между ними в том, что первые, в отличие от вторых, не имеют государственной регистрации. Также в Законе прописываются процесс создания и регистрации религиозных организаций, которые подразделяются на местные и центральные. Интересна 12-я статья данного Закона, в которой обозначаются причины отказа в регистрации религиозной организации: «Религиозной организации может быть отказано в государственной регистрации в случаях, если: цели и деятельность религиозной организации противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации — со ссылкой на конкретные статьи законов; создаваемая организация не признана в качестве религиозной; устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации или содержащиеся в них сведения не достоверны; в едином государственном реестре юридических лиц ранее зарегистрирована организация с тем же наименованием; учредитель (учредители) неправомочен» (ст. 12.1) [Пчелинцев, Ряховский 2006: 59–73]. Достаточно острая тема для российского общества — это присутствие иностранных миссионеров, против которых негативно настроены традиционные конфессии России. В законе о них тоже упоминается: «...представительство иностранной религиозной организации не может заниматься культовой и иной религиозной деятельностью, и на него не распространяется статус религи-

озного объединения, установленный настоящим Федеральным законом» (ст. 13.2) [Пчелинцев, Ряховский 2006: 59–73]. «Религиозные организации могут быть ликвидированы: по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то уставом религиозной организации; по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных федеральных законов либо в случае систематического осуществления религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания (уставным целям)» (ст. 14.1) [Пчелинцев, Ряховский 2006: 59–73]. «Основаниями для ликвидации... и запрета на деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном порядке являются: нарушение общественной безопасности и общественного порядка; действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности; принуждение к разрушению семьи; посягательство на личность, права и свободы граждан; нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий; склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии; воспрепятствование получению обязательного образования; принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения; воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения насильственного воздействия, другими противоправными действиями выходу гражданина из религиозного объединения; побуждение граждан к отказу

от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий» (ст. 14.2) [Пчелинцев, Ряховский 2006: 59—73].

4. *Федеральные законы, которые касаются в той или иной степени религиозной сферы:* ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ; ФЗ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ; ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ; ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ; ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ; ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ; ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ; Закон «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. № 1761—1.

5. *Кодексы РФ, в которых существуют положения, касающиеся функционирования и деятельности религиозных объединений:*

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации.

Е. Н. Салыгин считает, что в России «особая модель взаимодействия политической власти и конфессий, которая отличается от распространенных в мире режимов государственной церкви, конкордатной и плюралистических систем государственно-церковных связей» [Салыгин 1998: 25—27]. Он также полагает, что концептуальным основанием отношений между государством и конфессиями в России на сегодняшний

момент выступает идея культурно-исторической избирательности, состоящая в представлении преимуществ конфессиям по признаку их особой культурной и исторической значимости. Избирательность, по его мнению, заключается в: 1) отношении к иностранным конфессиям: они не могут заниматься культовой деятельностью, так как на них не распространяется статус религиозной организации; 2) разделении всех религиозных объединений на религиозные организации и на религиозные группы; 3) борьба с «тоталитарными сектами». Он делает вывод, что в Законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» государство завуалированно закрепило эту особую модель государственно-конфессиональных отношений, опираясь на реальное сложившееся положение дел. В конце своей статьи исследователь задается риторическим вопросом: из чего же должна складываться модель государственно-конфессиональных отношений, что брать в основу этих отношений: права человека или же историко-культурную значимость конфессий (идея избирательности)?

В соответствии с вышеизложенным, обозначим две стратегии/тенденции, которые касаются развития государственно-конфессионального и межконфессионального взаимодействия в Российской Федерации:

1. Позволить государству играть большую роль в координации межконфессиональных отношений / сильно влиять на координацию межконфессиональных отношений, что сопряжено с опасностью для реализации принципа свободы совести и вероисповедания (тенденция к увеличению роли государства в координации межконфессиональных отношений).

2. Отвести ему минимальную роль в координации межконфессиональных отношений / максимально снизить влияние на координацию, что сопряжено с расширением действия принципа свободы совести и вероисповедания (тенденция к уменьшению роли государства в координации межконфессиональных отношений).

На сегодняшний момент Россия тяготеет к первой тенденции. Об этом нам четко говорят проекты Концепций государственной конфессиональной политики, ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», где выделяются четыре ведущие традиционные конфессии, заключение государственно-конфессиональных соглашений с традиционными конфессиями и др. Эта тенденция усиливает конфликтность взаимодействия религиозных организаций, так как при таком положении дел растет негативное отношение нетрадиционных конфессий к традиционным.

Российскому современному государству предпочтительнее придерживаться второй стратегии/тенденции в государственно-конфессиональных отношениях. Отделение государства от церкви, полная реализация принципа свободы совести, отведение государству минимальной роли в координации межконфессиональных отношений.

Литература

1. Атлас современной религиозной жизни России / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.; СПб.: Летний сад, 2005. Т. I—II.
2. Афанасенко Я. А. Религиозная толерантность как проблема // Общество и власть. Толерантность: теория и практика. Якутск, 2003. Вып. 12. С. 144—145.
3. Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфол. анализ/ РАН. Ин-т философии. М., 1999. Ч. 1.
4. Васильева О. Ю., Трофимчук Н. А. История религий в России. М.: РАГС, 2004.
5. Здоровец Я. И., Мухин А. А. Конфессии и секты в России. Религиозная, политическая и экономическая деятельность. М.: ЦПИ, 2005.
6. Карпова Н. Г., Степанова И. Н. Диалог и исповедь как универсальные формы бытия толерантности // Общество и власть. Толерантность: теория и практика. Якутск, 2003. Вып. 12. С. 39—46.

7. Конституция РФ. Официальный текст. СПб.: ИД Громова, 2013.
8. О социальной концепции русского православия / Под общей ред. М. П. Мчедлова. М.: Республика, 2002.
9. Постановление Правительства РФ. О порядке проведения государственной религиоведческой экспертизы // Религиозные объединения. Свобода Совести и вероисповедания. Религиоведческая экспертиза. Нормативные акты. Судебная практика. Заключение экспертов / Сост. и общ. ред. А. В. Пчелинцева и В. В. Ряховского. 2-е изд., испр. и доп. М.: ИД «Юриспруденция», 2006.
10. Салыгин Е. Н. Какими быть государственно-церковные отношения в России? // Российская юстиция. № 2. 1998. С. 25–27.
11. Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания / Отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов. М.: Логос, 2003. Т. I–IV.
12. Степакова И. В. Государство и координация межконфессиональных отношений в современной России: Дис. канд. политических наук 230002 / Степакова Ирина Владимировна, СПбГУ. СПб., 2007.
13. Стецкевич М. С. Свобода совести. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006.
14. Толерантность / Общ. ред. М. П. Мчедлова. М.: Республика, 2004. С. 176.
15. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединений» // Религиозные объединения. Свобода Совести и вероисповедания. Религиоведческая экспертиза. Нормативные акты. Судебная практика. Заключение экспертов / Сост. и общ. ред. А. В. Пчелинцева и В. В. Ряховского. 2-е изд., испр. и доп. М.: ИД «Юриспруденция», 2006.
16. Черемных Г. Г. Свобода совести в Российской Федерации / Под ред. Ю. А. Дмитриева. М.: Манускрипт, 1996. С. 4.
17. Шахов М. О. Вероисповедная политика Российского государства. М.: РАГС, 2006.
18. Шахов М. О. Конституционно-правовые основы государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации. М.: РАГС, 2005.

ГЛАВА 11.

МОДЕЛЬ «БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ» КАК ОСНОВА БИОМЕДИЦИНСКОГО СТРАТЕГИРОВАНИЯ В ПОЛИТИКЕ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Идея «больших вызовов» получила в последнее время широкое распространение, как в научно-исследовательской среде, так и в политико-управленческой деятельности современных государств. Она активно используется для фиксации особо значимых социальных проблем, требующих быстрой адекватной реакции со стороны государства в интересах его устойчивого развития и национальной безопасности, в первую очередь в области политики научно-технических инноваций: «В XX веке наука и политика сотрудничали, чтобы “решить проблемы”. В XXI веке они сотрудничают, чтобы “отвечать на большие вызовы”» [Kaldewey 2018: 161].

В основу этой идеи было положено англоязычное словосочетание «big challenges», которое переводят на русский язык буквально как «большие вызовы». В современном английском языке слово «challenge» означает «новую или трудную задачу,

которая проверяет чьи-то способности и навыки», а также «приглашение или предложение кому-либо принять участие в соревновании, борьбе и т. д.»¹ Изначально русское слово «вызов» не имело того семантического значения, которое ему сегодня приписывается посредством расширения семантической структуры лексемы «вызов» под влиянием англоязычной лексемы «challenge». Это позволяет отечественным лингвистам фиксировать появление нового концепта путем переноса его английской версии в среду носителей русского языка: «В совокупности названных когнитивных признаков данный концепт не имеет в русском языке номинативного обозначения. Его перевод калькой *вызов* ведет к закреплению данного концепта в русской концептосфере и формированию нового значения в смысловой структуре русского слова *вызов*» [Стернина, Стернин 2018: 33]. В настоящее время новый концепт «вызов» постепенно внедряется в русскоязычную концептосферу, актуализируясь первоначально в публицистическом дискурсе и официальной речи для обозначения следующего смыслового поля: «общественный, часто глобальный характер проблемы, большое общественное значение решения этой проблемы, ее новизна и высокая актуальность для общества» [Стернина, Стернин 2018: 32]. Как особо отмечают исследователи-лингвисты, этот новый лексико-семантический вариант «лексемы *вызов* в русскоязычном дискурсе, в отличие от английского, наиболее активно используется в сферах политики и экономики, где сфера личного практически не выражена» [Шакин 2018: 132]. На современном этапе именно социально-экономический и политический контекст употребления этого концепта становится преобладающим в российском дискурсе, хотя развивается и первоначальная версия его употребления, тесно связанная с таким направлением, как инновационная политика.

¹ Challenges. — Oxford Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/challenge_1?q=Challenges (accessed: 21.03.2022)

Действительно, концепция «больших вызовов» зародилась в западном интеллектуальном дискурсе именно в области политики научно-технологических инноваций и стала набирать популярность с начала 2000-х годов. Многие исследователи связывают вхождение этой идеи в широкий международный оборот с конкретным событием в области биомедицинских исследований и разработок: в 2003 году известный американский предприниматель и общественный деятель, один из создателей компании Microsoft, Билл Гейтс, объявил о своей программе «Грандиозные задачи в области глобального здравоохранения», направленной на финансирование исследований заболеваний, поражающих людей в развивающихся странах [Ulnicane 2016: 4]. В своем выступлении Б. Гейтс, представляя идею «больших вызовов», ссылаясь на знаменитую речь немецкого математика Дэвида Гильберта 1900 года, в которой были тогда сформулированы 23 нерешенные математические проблемы, повлиявшие в последующем на математические исследования в XX веке [Enserink 2003: 641].

В рамках программы «Грандиозные задачи в области глобального здравоохранения» на конкурсной основе было определено четырнадцать глобальных вызовов в области здравоохранения, которые содержательно описывали серьезные технические препятствия на пути к более здоровому миру. «Вызовы» были выбраны программным комитетом осенью 2003 года после того, как его члены рассмотрели несколько тысяч представлений от ученых-медиков мира, а затем объединены в несколько более крупных тематических блоков: такие, например, как создание новых вакцин, совершенствование детских вакцин, улучшение питания для укрепления здоровья и медикаментозного лечения инфекционных заболеваний, экономическое измерение состояния здоровья в развивающихся странах и др. На реализацию проекта выделялись значительные объемы финансирования: \$450 млн поступило от Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda

Gates Foundation), самой богатой благотворительной организации в мире, \$27 млн — от крупнейшего международного благотворительного фонда Wellcome Trust, имеющего штаб-квартиру в Лондоне и финансирующего медицинско-биологические исследования, а также \$4,5 млн — от канадского правительства¹.

Вскоре после выступления Б. Гейтса и старта данной медицинско-биологической программы идея «больших вызовов», активно распространяясь в глобальном контексте, стала широко использоваться в исследовательской и инновационной политике по всему миру. Возникнув первоначально как частная исследовательская инициатива, эта идея получила позднее распространение, как в политико-правительственной сфере на национальном уровне, так и сфере международных институтов (например, ООН), а также в научном и университетском сообществах, где была использована в первую очередь для повышения легитимности науки, технологий и инноваций в качестве источников будущего планетарного благосостояния. На этом фоне появилась целая серия национальных, региональных и международных программ, обоснованных с помощью концепта «больших вызовов». Так, например, в области исследований и инноваций наиболее яркой страницей применения этого концепта стала Лундская декларация «Европа должна сосредоточиться на великих вызовах нашего времени», принятая органами ЕС в 2009 году и остающаяся стимулом подготовки и формирования единой политики ЕС в этой области до настоящего времени: «В декларации говорится, что европейская исследовательская политика должна отойти от нынешней бюрократической структуры и вместо этого сосредоточиться на серьезных вызовах

¹ The Grand Challenges in Global Health: 43 ways to save the world. The Economist. 2005. July 2nd. URL: <https://www.economist.com/science-and-technology/2005/06/30/43-ways-to-save-the-world> (accessed: 19.03.2022).

миру — например, изменении климата, нехватке воды, демографии и пандемиях»¹.

Концепция «больших вызовов», приобретающая все большую популярность, поставила много вопросов перед научным сообществом с точки зрения оценки ее возрастающей роли и значения в современных условиях. С одной стороны, исследователи отмечают в ее формировании важную преемственность более ранних идей и устоявшихся практик, сосредоточенных на социальной функции науки и ее общественных приоритетах [Cagnin, Amanatidou, Keenan 2012]. Например, такие работы, как первый доклад Римского клуба «Пределы роста», подготовленный международной группой ученых в 1972 г. и дорабатывавшийся позднее применительно уже к новым задачам [Медоуз 2018], или известная книга первого президента Римского клуба А. Печчеи «Человеческие качества», увидевшая свет в 1977 г., в которой автор обосновывал культурные рамки этих пределов [Печчеи 1985], уже тогда легитимизировали в своих моделях социальный потенциал научного знания для решения глобально значимых проблем, связанных с выживанием человечества. Немецкий политолог и футуролог О. Флехтгейм в своей книге «Футурология: битва за будущее» (1970) обозначил пять вызовов, на которые должна ответить будущая дисциплина футурология, позднее обновив их перечень в новых своих книгах [Flechtheim 1970]. Как отмечают некоторые исследователи, Флехтгейм «может быть одним из первых авторов, систематически заменяющих семантику “проблем” семантикой “вызовов”» [Kaldewey 2018: 167]. В качестве примера реальных программ, которые с точки зрения специалистов были своеобразными «предтечами» современных ответов на «большие вызовы», можно вспомнить такие, например,

¹ *CORDIS. «European Research Must Focus On The Grand Challenges, Experts Urge». ScienceDaily. 2009. July 10. URL: <https://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090710092232.htm> (accessed: 20.03. 2022).*

государственные биомедицинские программы, как проект «Геном человека» (HGP), который был инициирован в США в 1990 году и первоначально планировался на 15 лет, но был досрочно завершен в 2003 году, или проект «Война с раком» («The War on Cancer»), объявленный президентом США Ричардом Никсоном в 1971 году посредством принятия национального закона о борьбе с раком, или более успешная по отношению к названным ранее проектам программа «Война со СПИДом» («The War on AIDS»), которая напрямую уже вписывается в контекст дискурса ответов на «вызовы»: «Американская медицинская ассоциация (АМА) приняла вызов быть в авангарде этой войны со СПИДом» [Hotchkiss 1988: 282].

С другой стороны, концепция «больших вызовов» воспринимается исследователями как новое сочетание идей, принципов, функциональных аспектов, в рамках которого особый акцент приходится на решение крупномасштабных глобальных социальных проблем, в первую очередь в области здравоохранения, энергетики, экологии и др. [Ulnicane 2016: 11]. Более того, в ней стали усматривать даже своеобразную новую парадигму политики, т. е. некоторую «систему идей и стандартов, которая определяет не только цели политики и виды инструментов, которые могут быть использованы для их достижения, но и саму природу проблем, которые они призваны решать» [Hall 1993: 279]. Например, в контексте политики науки это новое дискурсивное обоснование влияет на траектории исследований, практики, методы, даже на сам научный этос. И хотя концепция «больших вызовов» сегодня все более широко популяризируется во всем мире, то, каким образом она используется на разных уровнях, в разных областях приложения, может значительно различаться, но, тем не менее, можно выделить некоторую специфику использования этой идеи, которая присутствует в самых разнообразных контекстах ее употребления: «...решение грандиозных задач,

обусловленных “большими вызовами”, обычно предполагает решение реальных проблем, требующих сотрудничества, охватывающего различные научные дисциплины, сектора и страны, с привлечением разнородных партнеров из сферы науки, инженерии, бизнеса, политики и гражданского общества» [Ulnicane 2017]. В своей статье немецкий исследователь Дэвид Колдуэй таким образом обозначил специфику нового дискурса, сложившегося вокруг идеи «больших вызовов» и вводящего аспекты логики спорта, соревновательности, конкуренции в систему науки и политики, что ведет к самобилизации и в конечном счете к самооптимизации участников этого процесса в самых разных контекстах: «Тот факт, что конкретные явления трансформируются и описываются как “большие”, “глобальные” или “социальные вызовы”, указывает на новые способы взаимодействия между учеными, инженерами, политиками и другими заинтересованными сторонами» [Kaldewey 2018: 163]. За относительно короткий промежуток времени данная концепция распространилась почти на все дисциплины, не только в естественных, но и в социогуманитарных науках, утвердилась в широком спектре институциональных контекстов по всему миру, а ссылка на «большие вызовы» стала самоочевидной как для ученых, так и для политиков, в том числе и в международном масштабе. Так основным международным документом, в котором впервые была обозначена парадигма «больших вызовов», стал доклад Генерального секретаря ООН Кофи Аннана «Мы, народы: роль ООН в XXI веке», опубликованный в марте 2000 г.¹

В современной России идея «больших вызовов» также оказалась актуализированной в самых разных сферах. В настоящее время эта идея активно используется в политической

¹ Доклад Генерального секретаря ООН Кофи Аммана «Мы, народы: роль ООН в XXI веке». Бюллетень ООН. Представительство ООН в Республике Беларусь. 2000. № 2 (март-апрель). URL: https://un.by/images/library/bulletin/2000/2000_2-70383.pdf (дата доступа: 12.04.2022).

дискурсе, в первую очередь в области национальной безопасности и глобальной политики, где трансформируется в концепт «глобальные политические вызовы» [Леонова 2019]. Достаточно широко прорабатывается эта идея и в социально-экономическом контексте, где парадигма «больших вызовов» рассматривается как мощный регулятор современного экономического развития [Кузнецова 2018; Кузнецова, Кочева, Матов 2021]. Но наиболее значимым образом концептуализация идеи «больших вызовов» и ее адаптация к российскому контексту была осуществлена в области разработки государственной научно-технологической и инновационной политики: «Категория “больших вызовов” пока не получила широкого распространения в документах стратегического планирования Российской Федерации. Тем не менее, предполагается ввести такую категорию, как один из основополагающих элементов системы управления научно-технологическим и социально-экономическим развитием страны» [Рождественская, Клочков 2017: 289].

Изначально свое практическое применение идея «больших вызовов» получила на нормативном уровне в ходе подготовки и принятия «Стратегии научно-технологического развития России до 2035 г.», утвержденной указом Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016 г.¹ Данный документ стратегического планирования, разработанный в рамках целеполагания на федеральном уровне, стал основой для формирования и реализации государственной политики в сфере развития науки, технологий, а также связанной с ними инновационной деятельности в Российской Федерации. В нем были закреплены долгосрочные цели, задачи научно-технологической и инновационной политики в стране, определены ключевые

¹ Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642). Справочно-правовая система «Гарант». URL: https://base.garant.ru/71551998/#block_1000 (дата доступа: 02.04.2022).

принципы данной политики, а также выделены приоритетные направления науки, техники и технологий посредством перестройки системы государственного стратегического прогнозирования, планирования и управления наукой, технологиями и инновациями в соответствии с новой моделью «больших вызовов».

В фундамент данной государственной стратегии была положена парадигма «больших вызовов», которые определяются в тексте документа следующим образом: «Большие вызовы — объективно требующая реакции со стороны государства совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов»¹. Таким образом, в принятом документе под вызовами подразумевается совокупность не только проблем, но и возможностей, на основе которых стратегически определяется в долговременной перспективе как социально-экономическая, так и научно-технологическая политика в стране, а также выделяется совокупность направлений, в которых ожидаются принципиально значимые для каждого человека и страны в целом результаты. При этом наука и технологии позиционируются как инструменты ответа на «большие вызовы» для государства, общества и науки. «Большие вызовы создают существенные риски для общества, экономики, системы государственного управления, но одновременно представляют собой важный фактор для появления новых возможностей и перспектив научно-технологического развития Российской Федерации»², — утверждается в данном документе государственного стратегического планирования.

¹ Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642).

² Там же.

Согласно пункту 156 «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», одним из таких вызовов называется «демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жизни людей, изменением их образа жизни, и связанное с этим старение населения, что в совокупности приводит к новым социальным и медицинским проблемам, в том числе к росту угроз глобальных пандемий, увеличению риска появления новых и возврата исчезнувших инфекций»¹. В качестве приоритетного направления ответа на данный вызов был определен «...переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)»². В контексте данного концептуального стратегирования в области научно-технических инноваций в РФ с 2019 г. проводятся ежегодные саммиты молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для общества, государства и науки», которые традиционно объединяют на базе научно-технического университета «Сириус» молодых исследователей (студентов, аспирантов), ведущих ученых, представителей академических исследовательских центров, университетов и высокотехнологичных российских компаний. Биомедицинская тематика в программе этих саммитов традиционно имеет большой удельный вес, причем в самом широком междисциплинарном плане: от биомедицины, генетики, нейробиологии, иммунобиологии и фармацевтики до биоинформатики и биоинженерных технологий³.

¹ Большие вызовы и приоритеты НТР. — Научно-технологическое развитие РФ. URL: <https://нтр.рф/challenges-priorities/> (дата доступа: 4.04.2022).

² Там же.

³ Ежегодный саммит молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для общества, государства и науки». URL: <https://summit.siriusconf.ru/> (дата доступа: 23.03.2022).

Модель «больших вызовов», взятая за основу политики инноваций, продолжает постоянно прорабатываться концептуально и стратегически. «Помимо универсальных “больших вызовов” — исчерпание и снижение эффективности использования традиционных ресурсов, демографическое сжатие и старение населения, отставание в росте продолжительности жизни от других индустриально развитых стран, изменение климата, трудности адаптации общества и государства к распространению новых “прорывных” технологий — Россия сталкивается с комплексом специфических вызовов и проблем, которые определяют особенности ее включения в технологическую революцию», — отмечают авторы экспертно-аналитического доклада Центра стратегических разработок [Новая технологическая революция... 2017: 42]. Призывая к замене «сырьевой модели роста» на модель «больших вызовов», эксперты рассматривают науку и технологии как необходимые инструменты для ответа на данные вызовы, при условии, что «...страна должна определиться, совершает ли она стратегические переходы, необходимые для перевода вызовов из статуса проблем в категорию возможностей, которыми можно воспользоваться для возобновления роста» [Новая технологическая революция... 2017: 15].

Одним из приоритетных направлений в данном докладе, в рамках оценки потенциала развития рынков научно-технологических инноваций (НТИ) до 2035 г., экспертами были обозначены в том числе и задачи в области научно-технологического развития медицины и биотехнологий, такие, например, как превентивная медицина, ИТ в медицине, спортивное здоровье, здоровое долголетие, медицинская генетика и биомедицина (генетическая диагностика, биоинформатика, генная терапия, фармакогенетика, популяционная генетика, медико-генетическое консультирование, новые медицинские материалы, биопротезы, искусственные органы), инженерная биология (новые технологии производства продуктов

здорового питания, спортивной одежды, устройства и сервисы по мониторингу и коррекции состояния здоровья человека) и др. [Новая технологическая революция... 2017: 129]. То есть речь идет о стратегической необходимости подготовки межатраслевых программ научных исследований и технологических разработок в формате комплексных научно-технологических программ, которые обеспечивали бы интеграцию интеллектуальных, организационных и финансовых ресурсов для глобальных прорывов, например, в области биомедицинских исследований и трансляционной медицины, поскольку к основным «вызовам» в долгосрочной перспективе в области здравоохранения относятся «высокая степень зависимости от импорта техники, технологий и препаратов; достижение предела эффективности существующей парадигмы в медицине; разрыв между потребностями и доступными технологиями в сфере лечения и диагностики; запрос общества на активное долголетие; долгий срок и высокая стоимость выведения на рынок новых препаратов» и др. [Новая технологическая революция... 2017: 124].

При этом стратегирование как «определение стратегии, развитие стратегического плана, планирование стратегии» [Зельднер 2012: 12] подразумевало в этой области двухэтапное осуществление перехода к модели «больших вызовов». Если к 2024 г. намечался переход к новой парадигме в медицине и здравоохранении, основанной на концепции «4П» — медицины — выявление предрасположенности к развитию заболеваний (П1 — предикция); предотвращение появления заболеваний (П2 — превентивность); индивидуальный подход к каждому пациенту (П3 — персонализация) и мотивированное участие пациента в профилактике заболеваний (П4 — партисипативность) [Пальцев, Белушкина, Чабан 2015: 48], а также преодоление зависимости от импорта ряда технологий медицинской и фармацевтической промышленности, то в более долгосрочной перспективе, к 2035 г., запланирована уже комплексная перестройка системы здра-

воохранения и предоставления социальных услуг, основанная на концепции «5П», в рамках которой к четырем основным компонентам (4П) должны быть добавлены цифровые платформенные решения (Digital Care) [Новая технологическая революция... 2017: 124]. На современном этапе в качестве «стратегических рисков» подобной комплексной перестройки сохраняются такие характерные для российской медицины проблемы, как нехватка медицинских кадров, имеющих как высокую профессиональную квалификацию, так и высокую цифровую грамотность; невысокий относительного мирового уровень научных исследований в области медицины в целом и цифровизации здравоохранения в частности, а также низкая медицинская и цифровая грамотность населения [Морозова 2021: 305]. Но именно в этом направлении, как отмечают исследователи стратегических аспектов процесса цифровизации российской медицины, находится основной ответ на «большие вызовы» в данной области: «В целом, по всей видимости, именно медицина будет являться ключевым глобальным драйвером развития цифровой экономики и экономики в целом развитых и развивающихся стран на долгосрочный период. <...> Цифровые технологии в течение ближайшего десятилетия будут оказывать влияние, прежде всего, на экономическую эффективность здравоохранения, но в последующем, с развитием искусственного интеллекта и роботизации, станут главным фактором повышения эффективности собственно процесса профилактики и лечения заболеваний» [Морозова 2021: 305].

Таким образом, «большие вызовы» на современном этапе «...стали основанием для выбора целей и задач государственной научной политики в ряде развитых стран мира, а также стимулировали развитие механизмов господдержки, направленных на ускоренное преобразование научных идей в технологии, а технологий — в продукты на рынке, востребованные национальной и глобальной экономикой», при

этом в вопросах научно-технологического сотрудничества лидирующие страны на первое место ставят именно проблемы здравоохранения, которое обеспечивает важнейшие общественные блага, такие как безопасность, здоровье и качество жизни населения¹. Государственное стратегирование в области биомедицины становится в условиях современности распространенной мировой практикой, в рамках которой «биомедицинские исследования могут как входить в более общие научные стратегии стран, так и иметь собственные документы» [Биомедицина-2040...2017: 74]. Так в РФ в основе политики в области биомедицины находится не только отмеченная выше «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации...», но и отдельный стратегически ориентированный документ — «Стратегия развития медицинской науки РФ на период до 2025 г.», основной целью которой является «развитие медицинской науки, направленное на создание высокотехнологичных инновационных продуктов, обеспечивающих на основе трансфера инновационных технологий в практическое здравоохранение сохранение и укрепление здоровья населения»². В целом же применение на государственном уровне парадигмы «больших вызовов» в области биомедицинского стратегирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе требует комплексного межотраслевого подхода и подразумевает, что для преодоления этих вызовов необходимы качественные

¹ Вызовы научно-технологического и инновационного развития. Международный опыт. Выводы для России. Справка. Подготовлена в рамках разработки Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 г. Центр стратегического развития. 2016. С. 3. URL: <http://sntrrf.ru/materials/vyzovy-nauchno-tehnologicheskogo-i-innovatsionnogorazvitiya-mezhdunarodnyu-opyt-vyvody-dlya-rossii/> (дата доступа: 10.04.2022).

² Стратегия развития медицинской науки РФ на период до 2025 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2580-р). Справочно-правовая система «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/70292396/> (дата доступа: 08.04.2022).

(интенсивные) изменения внутри самой системы: «Парирование глобальных вызовов и удовлетворение возникающих потребностей — нетривиальная задача. Решить ее можно совместными усилиями разных организаций, которые ведут работу на стыке науки, производства, клинической практики, политики в области здравоохранения, а также путем вовлечения пациентов в процессы совершенствования лечения» [Биомедицинские кластеры 2019: 7].

Литература

1. Биомедицина-2040. Горизонты науки глазами ученых / Под редакцией В. Н. Княгинина, М. С. Липецкой. СПб.: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», 2017. 95 с.
2. Биомедицинские кластеры в мире: факторы успеха и истории лучших / Е. А. Исланкина, Е. С. Куценко, Ф. Н. Филина, В. И. Панкевич и др.; Фонд Международного медицинского кластера; Нац. иссл. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2019. 60 с.
3. Зельднер А. Г. Место стратегирования в понятийно-категориальной системе прогнозирования // Экономические науки. 2012. № 8 (93). С. 7–15.
4. Кузнецова Н. В. Парадигма «больших вызовов» — новый этап развития мировой экономической системы // Менеджмент в России и за рубежом. 2018. № 6. С. 3–15. doi.org/10.24891/pi.17.3.443.
5. Кузнецова Н. В., Кочева Е. В., Матов Н. А. Оценка и определение уровня социально-экономических рисков для ответа России на «большие вызовы» // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2021. Т. 17. № 3. С. 443–469. doi.org/10.24891/pi.17.3.44.
6. Леонова О. Г. Глобальные политические вызовы современности // Век глобализации. 2019. № 3. С. 61–72. doi: 10.30884/vglob/2019.03.05.
7. Медоуз Д. А., Рандерс Й., Медоуз Д. Л. Пределы роста. 30 лет спустя. М.: Академкнига, 2008. 342 с.
8. Морозова Ю. А. Стратегические перспективы цифровой трансформации российского здравоохранения (в контексте

глобальных тенденций и задач развития отрасли) // Теория и практика стратегирования: IV Международная научно-практическая конференция (18 февраля 2021 г.). Т. I: Московский университет стратега: сборник избранных научных статей и материалов конференции / под науч. ред. В. Л. Квинта. М.: Издательство Московского университета, 2021. С. 300–308.

9. Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России. Экспертно-аналитический доклад. М.: Центр стратегических разработок, 2017. 136 с.

10. Пальцев М. А., Белушкина Н. Н., Чабан Е. А. 4П-медицина как новая модель здравоохранения в Российской Федерации // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. 2015. № 2. С. 48–54.

11. Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1985. 312 с.

12. Рождественская С. М., Клочков В. В. Парадигма «Больших вызовов» в системе стратегического планирования научно-технологического развития // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. М.: ИНИОН РАН, 2017. № 12–3. С. 389–395.

13. Стернина М. А., Стернин И. А. Английские *challenge* и *pet*: концепт, слово, заимствование // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2018. № 4. С. 31–35.

14. Шакин П. В. Лексема *вызов* в современном русском языке: расширение семантической структуры // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 3. С. 125–135.

15. Cagnin Cr., Amanatidou E., Keenan M. Orienting European innovation systems towards grand challenges and the roles that FTA can play // Science and Public Policy. 2012. No. 39(2). P. 140–152. doi.org/10.1093/scipol/scs014.

16. Enserink M. Bill Gates Plans a Hit List, With NIH's Help. Science. 2003. January 31; No. 299 (5607). P. 641. doi.org/10.1126/science.299.5607.641b.

17. Flechtheim O. K. Futurologie. Der Kampf um die Zukunft. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 1970. 431 s.

18. Hall P. Policy paradigms, social learning, and the state: the case of economic policymaking in Britain // Comparative Politics. 2003. No. 25(3). P. 275–296. doi.org/10.2307/422246.

19. Hotchkiss W. The American Medical Association and the War on AIDS // *Public Health Reports*. 1988. No. 103(3). P. 282–288.

20. Kaldewey D. The Grand Challenges Discourse: Transforming Identity Work in Science and Science Policy // *Minerva*. 2018. Vol. 56, iss. 2. P. 161–182. doi.org/10.1007/s11024–017–9332–2.

21. Ulnicane I. Grand Challenges' Concept: A Return of the 'Big Ideas' in Science, Technology and Innovation Policy? // *International Journal of Foresight and Innovation Policy*. 2016. Vol. 11. No. 1–3. P. 5–21. doi.org/10.1504/IJFIP.2016.078378.

22. Ulnicane I. Grand societal global challenges: fashion or paradigm shift in knowledge policies? // *Europe of Knowledge*. 2017. June 6. URL: <https://era.ideasoneurope.eu/2017/06/06/grand-societal-global-challenges-fashion-paradigm-shift-knowledge-policies/> (accessed: 12.04.2022).

ГЛАВА 12.

СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА: ВЫЗОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И МЕДИАТИЗАЦИИ

Виртуализация коммуникаций, в том числе социально-политических, детерминирует тот факт, что под воздействием интенсифицированной информатизации фундаментальные модели социального взаимодействия приобретают беспрецедентное количество разнонаправленных, зачастую весьма противоречивых, конфигураций. Обозначенная тенденция существенно актуализирует не только академическое осмысление сопутствующих процессов, но и полномасштабную теоретизацию фрейма информационного и коммуникационного риск-менеджмента. Формирование новой цифровой реальности с присущими ей смыслами и трендами существенно определяет актуальное конструирование политического дискурса. Увеличение количества виртуальных коммуникационных площадок и модификаций форм воздействия на массовое сознание напрямую влияет на то, что на современ-

ном этапе менеджмент информации становится ключевым компонентом государственного стратегического управления и политического планирования.

Одновременно с этим отсутствует академически достаточная и полноценная концептуализация информационного риск-менеджмента в политической сфере, весьма ограниченным видится предлагаемый практический инструментарий управления информационными рисками. Отсутствие комплексного научного подхода ограничивает установление взаимосвязи масштабного влияния информационных рисков на обеспечение политической стабильности и экономического благополучия государства, что, в свою очередь, детерминирует его глобальную конкурентоспособность.

В этой связи, в первую очередь, постулируется острая необходимость поиска актуальной концептуализации понятия «информационный риск», унифицированные коннотации которого в современной политической науке не обозначены. Ряд специалистов рассматривают информационный риск как событие, которое оказывает непосредственное влияние на информацию: ее удаление, искажение, нарушение ее конфиденциальности или доступности [Баранова 2015; Замула 2009; Киселева 2017]. Иными исследователями информационный риск интерпретируется исключительно в критериях обособленности компьютерными системами и киберпроцессами.

В понятийно-категориальном аппарате «информационного» и «политического» рисков в последние годы политологами разрабатывается новый термин — «информационно-политический риск». По мнению С. А. Овчинникова, одного из ключевых разработчиков научного направления «информационно-политической рискологии», это риск, связанный с проектом информатизации. С. А. Овчинников дает следующее определение: «Риск в информационно-политической сфере означает вероятность неудачи реализации проекта

информатизации, который в первую очередь строился на уверенности в получении существенного успеха в случае его реализации, что должно проявиться в повышении качества оказания государственных услуг, обеспечении прозрачности власти и в целом эффективности государственного управления» [Овчинников 2011].

Небывалое разнообразие современных масс-медиа не изменило преимущественно односторонний характер массовой коммуникации, а также целевую ориентацию медиаполитики, которая фактически «является одним из основных компонентов более широкой формы политики — информационной политики, использующей информацию и ее обработку в качестве решающего инструмента» завоевания и (или) удержания публичной власти [Кастельс 2017].

Пул авторов, чья аналитическая позиция коррелирует с логикой представленной главы, предлагают определение информационного риска как характеристики ситуации, обладающей неопределенностью исхода, при которой потеря/искажение/неполучение информации выступает определяющим фактором степени возможных неблагоприятных последствий. В этой парадигме анализа информация становится основным ресурсом, используемым для обеспечения устойчивого развития политических и социальных институтов, что определяет острую необходимость ее комплексной защиты. В данном ключе можно выделить три фундаментальных аспекта, детерминирующих безопасность информационного актива: конфиденциальность, целостность, доступность. Под конфиденциальностью понимается свойство информации быть недоступной, закрытой для неавторизованного индивида, логического объекта или процесса. Целостность информации есть сохранение ее полноты и корректности. Доступность — это свойство информации быть готовой к использованию по запросу авторизованного объекта в определенные темпоральные сроки.

Поиск актуальных коннотаций информации и информационных рисков затруднен и тем, что в настоящее время очевидна тенденция реорганизации структуры традиционного общества. Это сопровождается децентрализацией социальных структур, переоценкой и разрушением устоявшейся системы ценностей, а также модификацией характера и способов социальной коммуникации. С. В. Афанасьевым отмечается тот факт, что мы являемся свидетелями того, как постепенно человек теряет связь с реальным миром и привычной системой ценностей, ее ориентирами. Это, в свою очередь, ведет к эскалации угрозы утраты социальных ценностей, этических норм и принципов [Афанасьев 2017]. В данном тезисе заключена идея не только необходимости форсированного научного развития теории информационного риск-менеджмента, но и прослеживается актуализация информационного риска как прямой угрозы социальной устойчивости, стабильности в практической плоскости. В частности, в политическом дискурсе в этом контексте уместно отметить крайне опасные генерирующиеся тенденции размывания и интеграции идеологий, подмены понятий истинного и ложного посредством распространения фейковой информации, а также распространения разнообразных моделей манипуляции общественным сознанием. Возможность удаленной коммуникации ведет к ухудшению непосредственного личного взаимодействия, следовательно, происходят отстранение от настоящего окружения, коллизии идентичности, утрата связи с историей и культурой.

Важно отметить, что информационные эффекты постиндустриального общества амбивалентны. С одной стороны, информационные технологии предоставляют индивидам разнообразные траектории взаимодействия с миром, выступают эффективным инструментом просвещения, выражения гражданской позиции и др. С другой стороны — характерные особенности субъекта подвергаются глобальным изменениям под воздействием трансляции аксиологических ориентиров

в новых медиа, что влечет обезличивание индивида, который постепенно становится пассивным реципиентом навязываемых идей и мнений, выгодных для «заказчика ценностей». Более того, один из наиболее распространенных видов современных информационных рисков — риски безопасности информационных систем. Вероятность утраты конфиденциальности информации растет в геометрической прогрессии соразмерно ее стремительному распространению. Это означает, что, помимо ценностных издержек, развитие постиндустриального общества актуализирует угрозы, связанные с хакерскими атаками, утечкой баз данных, нарушением целостности информационной системы социального/политического/экономического блоков. Помимо индивидуальной плоскости в рамках социальных процессов, особую ценность информация и стратегии управления ею приобретают именно на государственном уровне, где решение ряда геополитических задач осуществляется посредством проведения информационных или гибридных войн. Одновременно с этим дискурс информационного риск-менеджмента актуализируется не только в контексте защиты собственных государственных интересов, но и в сфере обеспечения национальной безопасности, достижения внутренних целей и задач.

Как уже отмечалось ранее, процесс управления информационным риском академически формализован крайне фрагментарно, фундаментальные концептуализации в науке фактически отсутствуют. Базово он включает разработку, внедрение и использование информационных систем и технологий, то есть заключается в регламентации, автоматизации и операционализации управления риском.

Авторы главы предлагают обособление двух глобальных групп информационных рисков в области стратегического политического управления:

- Информационные риски, представляющие угрозу информационной безопасности и непрерывному функ-

ционированию информационных систем управления, а также риски похищения информационного капитала.

- Информационные риски, обусловленные угрозами массового информационного воздействия новых медиа, порождающие имиджевые риски, риски устойчивости политической системы и режима, риски утраты социальной и политической идентичности, делигитимации, интенсификации протестного потенциала и пр.

К магистральным практическим проявлениям обозначенных групп информационных рисков в сфере политики сегодня уместно отнести разрушение традиционной системы ценностей; распространение экстремизма и терроризма, в том числе в киберпространстве; пропаганда идеологических мировоззрений; хакерство; дезинформация и распространение фейков; подстрекательства на неправомерные действия многообразных субъектов процессов жизни социума и др.

Обозначенные выше глобальные группы информационных рисков предполагают уникальный подход к их выявлению, контролю, нивелированию и минимизации последствий. Обращаясь к инструментарию современного информационного менеджмента первой группы рисков, можно утверждать, что в любой области он буквально синонимичен перманентному анализу и мониторингу. Исследование стратегического политического управления информационными рисками в системе информационной безопасности подразделяется на качественный и количественный виды. Специфика качественного исследования информационных рисков заключается в фундаментальной идентификации рисков. Далее определяется стоимостная оценка последствий воплощения таких рисков и разрабатывается уникальный инструментарий управления ими. Качественный анализ реализуется на стадии планирования деятельности информационной системы. Что же касается количественного анализа, то он базируется на механизмах и методах теории вероятности и математической

статистики, в контексте числового измерения определяется уровень влияния факторов риска на изменение эффективности деятельности системы/субъекта.

К методам управления рассматриваемыми информационными рисками, в первую очередь, относятся нормативно-правовые методы, экономические методы, организационные методы управления информационными рисками. Организационные методы управления информационными рисками исследуемого блока подразделяются на следующие виды:

- методы применения средств управления;
- методы непосредственного управления информационными рисками;
- методы общего менеджмента.

Использование методов применения средств управления предполагает создание методик, инструкций, различных графиков и схем, описание функциональных особенностей для сотрудников, что позволяет использовать теоретико-методические наработки на практике.

Второй вид методов не предусматривает обязательное использование специальных средств. Они применяются при условии преимущества организационных методов в эффективности или их взаимной дополняемости с другими механизмами в качестве примеров организационных методов управления информационными рисками, обладающих самостоятельным значением. К ним относятся размещение носителей информации в специальных хранилищах; контроль и совместное выполнение особых операций; допуск в помещения с использованием систем контроля доступа. Пользователи информации должны иметь доступ к ней в соответствии с уровнем компетенции и занимаемой должности. Перечень допускаемых к информации сотрудников определяется руководством, которое, в свою очередь, опирается на инструкцию, утвержденную советом по управлению информационными рисками.

В инструкции прописываются функциональные обязанности персонала по идентификации и применению методов управления информационными рисками. В частности это:

- обеспечение доступа на рабочем месте;
- ведение журналов и конкретной статистики;
- действия в случае обнаружения информационных рисков.

Методы общего менеджмента содержат в себе методы управления, которые реализуются внутри любой функционирующей системы: планирование работ, ведение документации, контроль, аудит и др. Можно выделить также чисто экономические методы управления информационными рисками:

- оценка ущербов от информационных рисков;
- оптимизация общих расходов на управление информационными рисками;
- страхование информационных рисков;
- создание резервов для минимизации ущербов.

Также средства управления информационными рисками в контексте особенностей решаемых задач категоризируются следующим образом:

- средства сбора и первичной обработки информации;
- средства обеспечения качества в информационной системе (ИС);
- средства обеспечения безопасности информации в ИС.

Для первого блока применяются средства сбора и первичного обеспечения должного качества информации — это определяющий фактор. По расположению источника информации относительно информационной системы субъекта осуществляется разделение на внешнюю и внутреннюю. Используются такие источники информации, как:

- компьютерные системы;
- телекоммуникационные системы;
- информационно-поисковые компьютерные системы;
- технические средства учета, измерения и контроля;
- средства массовой информации;

- внешние источники аналитической информации;
- специалисты, эксперты.

Помимо общих теоретико-методологических управленческих направлений, менеджмент информационных рисков испытывает на себе влияние технологических факторов, то есть обуславливается характеристиками программного обеспечения. Программная система должна проектироваться на базе концепции поддержки принятия решений. Иными словами, требуется разработка инструментального средства анализа рисков, опирающегося на результаты аналитических исследований с применением технологий OLAP и Data Mining, интеллектуального анализа данных, процедурах логического вывода, современных баз знаний. С помощью этого возможно построение структурных и объектоориентированных моделей информационных активов политического актора, моделей угроз и рисков, встроенных в дискурс информационных транзакций. Все это необходимо для выявления информационных активов актора [Хитрова 2014].

Переходя к анализу второй, проартикулированной авторами группы информационных рисков в области стратегического политического управления, необходимо отметить, что подобного рода информационные риски преимущественно связаны не с вопросом обеспечения безопасности информационной системы, а с аспектом борьбы смыслов и идей в глобальном информационном поле. Циркулирование многообразных, полярных информационных потоков в медиа, дестабилизирующих социально-политические процессы, обуславливает обособление данной группы рисков как одной из наиболее важных.

Классификация информационных рисков, связанных с циркулированием информационных потоков в медиа, включает следующие их основные виды:

- репутационные риски;
- коммуникационные риски;

- риски срывов реализации проектов;
- риски деструктивизации и разобщения целевых групп;
- риск повышения политической нестабильности/интенсификации протестного потенциала;
- риск ослабления/утраты идентичности граждан;
- риск внутреннего социального раскола;
- риск недоверия власти;
- риск утраты легитимности и полной потери власти;
- риски экономических потерь;
- демографические риски (в их числе эмиграционные).

Детализируем инструментарий анализа этой группы рисков и обозначим технологии информационного риск-менеджмента в данной области. Здесь, как и в предыдущей выделяемой группе информационных рисков, имплементация стратегического политического управления предполагает внедрение качественных и количественных методов. Качественное исследование подразумевает идентификацию рисков, которая для данной группы рисков невозможна на этапе планирования информационной деятельности. Рискогенные информационные потоки преимущественно не доступны для отслеживания заранее. Поэтому для их исследования необходим регулярный мониторинг медиа с последующей расшифровкой формирующихся дискурсов и смыслов. Количественное исследование, в свою очередь, реализуется подготовленными программами и специалистами для работы с количественными характеристиками распространения информационных потоков — с Big Data, и их воздействием на массовое сознание. За аналитическим исследованием специфики информационного риска следует стратегическая работа по его локализации и нивелированию последствий в случае проявления.

И локализация риска, и нивелирование его последствий в контексте циркулирования информационных потоков предполагают использование особых механизмов и методов менеджмента, определяемых спецификой конкретной

информационной площадки. В современном мире наблюдается широкое разнообразие медиаресурсов — как традиционных СМИ, так и их новых конфигураций на основе сетевых технологий, каждая из которых определяет уникальный формат и стиль коммуникации, а значит — генерирует уникальные типы рисков. Так, индивиды делятся визуальным контентом в Instagram (принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ), развлекательный контент преобладает в TikTok и YouTube, для организации личного общения актуальными признаются мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ), наиболее популярными тематическими онлайн-сообществами выступают Vkontakte и Facebook (принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ) и т. д. Таким образом, мы видим, что представленные на сегодняшний день медиаплощадки, в которых реализуется распространение и преумножение информационных потоков, крайне разнообразны и неоднородны, как содержательно, так и функционально. Проведенное авторами главы исследование показало, что наиболее сильная концентрация рискованных информационных потоков локализуется в сетях, для которых характерна акцентуация визуализации (массированное размещение фото- и видеоконтента: мемы, клипы, фотопубликации, селфи, исчезающие истории и др.), используемая для интенсификации эмоциональной перцепции. Яркость и легкость восприятия визуального (проще — схематичного) или аудиального контента являются ключевыми факторами, способствующими благоприятной и быстрой перцепции новой информации. Понимание этих особенностей маркирует и характеристики ответных, нивелирующих целевой информационный повод, информационных фреймов.

Проводя таксономию основных генерируемых информационных рисков в новых медиа, можно утверждать, что социальные сети безоговорочно выступают ретранслятором «сомнительных» и «недостовверных» смыслов, образов, мифов, идей, формирующих общий аксиологический фон социума. Зачастую апелляцию к чувствам подписчиков контент-мейкерами можно расценивать как грамотно смоделированную манипуляцию. Нельзя упускать из академического внимания аспект запроса пользователей на так называемую «политику новой искренности». Доверие блогерам в TikTok высоко по той причине, что «люди там настоящие», а значит — и информация подлинная. Для данной социальной сети характерно то, что возможность быть услышанным удовлетворяется без многомиллионной аудитории. Алгоритмы этой социальной сети устроены таким образом, что видео популяризируются не по хэштегам, а по тому, кто его оценивает. Также персонализация контента учитывает возможность предложения роликов людям со схожими вкусовыми предпочтениями относительно ленты просмотров. Этот аспект коррелирует со скоростью распространения новостей и мнений в данной сети. Безусловное доверие незнакомому ретранслятору мнений и знания генерирует существенные риски, увеличивая необоснованный информационный резонанс в обществе.

Таким образом, на практике основные категории информационных рисков обозначенного блока сводятся к массивному распространению заведомо ложной информации в целях транслятора (распространение фейков и фактоидов). В сущности, единственной мерой преодоления тенденций стремительного распространения ложных дискурсов и месседжей, дестабилизирующих социум, становится качественная проверка фактов на истинность, иначе — факт-чекинг. Технология факт-чекинга определяется поиском первоисточника и дополнительных данных, анализом разнонаправленных экспертных позиций. Все это способствует сохранению

адекватного и объективного восприятия социальной, политической, экономической обстановки, снижению конфликтности онлайн-коммуникаций и протестного потенциала, нивелированию необоснованного недоверия к институтам и, в совокупности, локализации информационных рисков.

Специфические особенности ландшафта новых медиа определяют и иные универсальные средства управления информационными потоками. К таким технологиям, помимо описанного выше публичного факт-чекинга, относится использование риторических идиом, лейтмотивов в их составе и контрриторических стратегий, используемых в медиа-пространстве различными акторами, в зависимости от классификации информационного риска. Риторические идиомы — это дискурсивные рамки конструирования социальной проблемы, как указывают Ибарра и Китсьюз [Ibarra, Kitsuse 2003], своего рода «моральные словари» или дефиниционные комплексы (риторика утраты, риторика бедствия и т. д.). Под лейтмотивами понимаются конкретные повторяющиеся (сквозные) термины или выражения, используемые в рамках той или иной риторической идиомы или в нескольких идиомах. В качестве конкретных технологий рассмотрим примеры. Риторика утраты, в соответствии с которой люди, конструирующие проблему, принимают образ «хранителей или защитников некоторого уникального или священного предмета или качества», который или которое подвергается существенной угрозе. Одновременно с этим в условиях игры в социальную проблему не пренебрегают ссылками на ответственность перед будущими поколениями. Риторика наделения правом подчеркивает значение обеспечения всех равными возможностями и правами. Данная риторика зачастую основана на проявлении настроений эгалитаризма. Риторика наделения правом способствует проблематизации многообразных форм дискриминации. Основная идея данной риторической стратегии заключена в необходимости расширения принципов

терпимости, справедливости, равноправия, уважения человеческого достоинства по причине выгоды этих принципов для всех членов социально-политических интеракций. Иная доступная для широкого использования идиома — риторика опасности. Особо актуализируется в случае угрозы здоровью и безопасности людей. Обличение проблематики эксплуатации и манипулирования допускает использование риторики неразумности. Сложно проблематизируемые ситуации предполагают использование риторики бедствия.

В части анализа контрриторических стратегий можно отметить, что под данным термином понимаются меры, реализуемые в информационном пространстве для депроблематизации дискурсов. Применение методики позволяет опровергнуть значимость и актуальность повода за счет несочувствующей и сочувствующей контрриторик. В первом случае уместно представление проблемы как серии отдельных кейсов и инцидентов, допустима попытка дискредитации участников дискуссии. Сочувствующая же контрриторика доказывает несостоятельность предлагаемых путей решения вопроса посредством презентации проблемы как неизбежности, и, как следствие, актуализации опасности способов борьбы с ней [Ibarra, Kitsuse 2003].

Иллюстрацией использования подобных инструментов могут выступать публикации государственных СМИ. Например, депроблематизация темы введения экономических санкций против России в 2014 году осуществлялась перекрытием повестки альтернативными экономическими темами, а также использованием стратегии антитипизации, что подразумевает акцентирование внимания на том, что данные экономические меры не нанесли значительного урона финансовому рынку России и экономике страны в целом. Контрриторика истерии в данном случае опирается на обвинения в эмоциональности тех, кто проблематизирует экономические санкции в информационном пространстве. Здесь оппоненты представляются

некомпетентными персонами, руководствующимися не логикой, но эмоциями [Казун 2016].

Краткий обзор использовавшихся риторических идиом и контрриторических стратегий примечателен по той причине, что в 2022 году депроблематизация экономических санкций осуществляется преимущественно в иной плоскости информационного пространства — не в печатных СМИ, а в медиа-изданиях. Однако, несмотря на смену парадигмы трансляции мнений, инструменты депроблематизации остались преимущественно аналогичными.

Помимо технологий использования риторических идиом и контрриторических стратегий, в числе эффективных технологий информационного риск-менеджмента можно выделить так называемую «информационную отработку». Данный феномен представляет собой купирование информационного повода, обретающего распространение, его опровержение, параллельный перехват информационной повестки, воздействие на восприятие информации реципиентами, а также мониторинг общественного мнения в отношении общей новостной повестки и отдельных событий, в том числе «отрабатываемого». Основная деятельность по отработке информационного риска заключается в осуществлении ряда шагов. К первичной отработке относится предоставление краткой информации на собственных ресурсах актора и в средствах массовой информации, а также мониторинг медиа на предмет распространения всех существующих в дискурсе конкретного риска повесток. Далее осуществляется информационное управление темой и регулярное информирование целевой аудитории. Стратегически важным является этап работы со СМИ: брифинги, пресс-конференции и пр. Отдельного внимания заслуживает мониторинг на фейки и их опровержение, в том числе посредством использования контрриторических стратегий. Помимо этого, отработка информационного повода подразумевает мониторинг реакций аудитории на нее.

Особого критического внимания заслуживает аспект информационного сопровождения. В случае появления информационного риска необходимы оперативная разработка и реализация информационной кампании — стратегии, подразумевающей определенные тезисы продвижения позиции, выбор используемых ресурсов и определение пула спикеров. Информационная кампания предполагает:

- анализ обстановки, иначе — постоянное изучение медийного поля и общественного мнения;
- определение стратегии информационной кампании — на данном этапе формулируются тезисы, ориентированность, цель, задачи;
- медиапланирование, разработка сетки мероприятий, привязанных к ключевым датам;
- определение субъектов реализации кампании — спикеры, инфлюенсеры, эксперты;
- выбор площадок коммуникации и форм взаимодействия с аудиторией;
- отслеживание результатов информационной кампании, анализ изменения отношения аудитории к конкретной теме.

Рассмотрим информационную отработку и ведение информационной кампании на примере кейса локализации риска, спровоцированного распространением фейков или фактоидов. Масштаб угрозы от распространения фейка определяется количественными показателями аудитории, его получившей, наличием и масштабом сети ретрансляторов мнения. Информационная отработка в данном отношении подразумевает следующий план действий:

1. Выявление фейков посредством ручного мониторинга, автоматизированного поиска, работы с обращениями.
2. Верификация (внутренняя) посредством самостоятельного факт-чекинга или с привлечение уполномоченных специалистов.

3. Выбор стратегии отработки. Данный этап предполагает оценку аудитории, рассмотрение площадок распространения, поиск инфлюенсеров и экспертов, наиболее активных в конкретном информационном поле.

4. Демонстрация реакции в виде публичного опровержения фактоида и распространение правдивой информации.

5. Оценка отработки и контроль реэскалации фактоида.

Стратегия отработки фейка заключается в опровержении и перехвате повестки. Опровержение фейка предполагает заявление от авторитетного источника, содержание фактов, ссылку на документы. Дополнительным инструментом в опровержении может стать компрометирование первоисточника фейка.

В сущности, данная стратегия сводится к следующим пунктам:

1. Предупреждение фейка. Эта ступень предполагает предикативные действия в случае, если известно о планируемой угрозе.

2. Перехват повестки. Публикация достоверной информации постфактум, требование опровержения информации в публикации субъектом, распространившим фейк. Также актуализируется точечная отработка в комментариях, публикация опровержения в альтернативных релевантных источниках.

3. Создание контрповестки. За опровержением данных следует формирование собственной повестки по теме фактоида. Одной из задач является восстановление репутационного и имиджевого ущерба.

Информационный риск-менеджмент, помимо технологий минимизации и локализации информационных рисков, предполагает ряд принципов профилактики таких угроз:

- периодический мониторинг настроений населения, в особенности — локальных «негативных» сообществ;
- заблаговременное планирование контента, в том числе контента, пригодного для отработки фактоидов;
- выявление, учет и своевременная отработка «сезонных» рисков, их превентивное предотвращение;

- отслеживание информационных «вбросов», их опровержение, регулярная трансляция официальной позиции.

Помимо перечисленного выше необходимо подчеркнуть значимость эффективной коммуникации внутри политической структуры. Внимание к настроениям сотрудников, которые могут стать источником информационного риска, регулярное взаимодействие с пресс-секретарем, PR- и GR-менеджерами и постоянная фильтрация высказываний ключевых субъектов — все это понимается как магистральные инструменты превентивного купирования информационных рисков. Необходимо отметить, что определяющим аспектом здесь является актуальность единой политики в отношении обработки рискогенной информации. Эти средства минимизации информационных рисков являются на сегодняшний день наиболее эффективными в контексте имплементации стратегического политического управления.

Наконец, акцентируя внимание не только на артикулируемой информации, но и на стратегиях ее трансляции и ретрансляции, необходимо обратить внимание на то, что к специализированным технологиям обработки информационной повестки можно отнести точечную работу с медийными личностями, инфлюенсерами, блогерами, обладающими воздействием на широкую аудиторию пользователей. Для каждой социальной сети методология воздействия на массовое сознание уникальна ввиду специфики площадки. В частности, это сводится к разнообразию методов воздействия контента на массовое сознание, персонализации контента для различных групп населения. Например, рискогенный поток информации посредством отрицания либо преуменьшения в онлайн-пространстве группой влиятельных лидеров общественного мнения способен уменьшить дестабилизирующий потенциал формируемой повестки.

Подводя итоги, отметим, что в главе проанализированы две магистральные группы информационных рисков: риски, представляющие угрозу информационной безопасности

и непрерывному функционированию информационных систем управления, риски похищения информационного капитала; а также риски, обусловленные угрозами массового информационного воздействия в медийном пространстве, порождающие имиджевые риски, риски устойчивости политической системы и режима, интенсификации протестного потенциала, коллизий социальной и политической идентификации и пр. Обособление двух групп информационных рисков определило дальнейший обзор технологий по их минимизации и нивелированию.

Для первой группы рисков актуализированы такие угрозы, как нарушение целостности системы информационной безопасности, утечка информации. Вторая группа рисков характеризуется такими последствиями, как возникновение системного кризиса, формирование и/или укрепление позиций протестных групп или отраслевых протестных сообществ, катализация репутационных рисков.

В главе детализированы технологии информационного риск-менеджмента для каждой из групп информационных рисков. Информационные риски, связанные с системой информационной безопасности, нивелируются посредством использования средств охраны и управления доступом; средств обеспечения информационной безопасности при работе с немашинными носителями информации и конфиденциальными материалами; средств разграничения доступа к компьютерной информации; специальных средств защиты от хакерских атак; средств защиты от инсайдеров. Глобальную значимость здесь приобретает создание организационной структуры системы управления информационными рисками.

Что касается второй группы рисков, то к ключевым технологиям работы с ними относятся разработка информационной повестки, реализация информационной кампании, управление фактоидами и фейками, а также использование риторических и контрриторических стратегий.

Таким образом, основные рекомендации в вопросах управления наиболее распространенными информационными рисками в структуре стратегического политического менеджмента формулируются авторами следующим образом:

- качественная разработка комплексной системы безопасности;
- расширение пула сотрудников, обеспечивающих целостность и функционирование информационных систем;
- качественное развитие охраны доступа к информации, средств защиты информации и страхования информационных рисков;
- комплексная доработка системы мониторинга и аналитики информационного поля на всех уровнях управления;
- повышение квалификации сотрудников, в чью компетенцию входит отработка информационной повестки и фейков и др.

В заключение можно отметить, что в условиях глобализации и беспрецедентной информационной открытости национальных границ, информация и знания выступают в качестве стратегического фактора в рамках международной конкуренции за использование их потенциала и минимизации рисков, связанных с их распространением. Российская Федерация может добиться прогресса в формировании экономики знаний, занять лидирующие места в индексах цифровизации в сферах общественной жизни, повысить эффективность государственного управления и системы обеспечения безопасности информационных систем. Стратегический информационный риск-менеджмент — эффективный инструмент для достижения этих целей.

Литература

1. Афанасьев С. В. Конфликты моральных ценностей в культуре информационного общества // Конфликтология. 2017. № 2. С. 48—60.

2. Баранова Е. К. Методики анализа и оценки рисков информационной безопасности // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 3: Образовательные ресурсы и технологии. 2015. № 1 (9). С. 73–79.

3. Замула А. А., Одарченко А. С., Дейнеко А. А. Методы оценивания и управления информационными рисками // Прикладная радиоэлектроника, 2009. Т. 8. № 3. С. 382–387.

4. Казун А. Д. Почему россияне не боятся экономических санкций? Контрриторические стратегии печатных СМИ // Мониторинг. 2016. № 1 (131). С. 256–271.

5. Кастельс М. Власть коммуникации / Перевод с английского Н. М. Тылевич; предисловие к изданию 2013 года А. А. Архиповой; под научной редакцией А. И. Черных. 2-е издание, дополненное. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. 591 с.

6. Киселева И. А., Искаджян С. О. Управление информационными рисками в бизнесе // Иннов: электронный научный журнал, 2017. № 1 (30). С. 5.

7. Овчинников С. А. Перспективы развития нового научного направления политологии информационно-политической рискологии // Информационная безопасность регионов. 2011. № 2(9). С. 31–34.

8. Хитрова Т. И. Методики и технологии управления информационными рисками / Т. И. Хитрова, А. Н. Власов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 2014. № 3. С. 18.

9. Ibarra P. R., Kitsuse J. I. Claims-making discourse and vernacular resources // Challenges and choices: constructionist perspectives on social problems/Ed. by G. Miller, J. A. Holstein. Hawthorne, N. Y.: Aldine de Gruyter, 2003. P. 17–50.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6
Глава 1. Большая стратегия: актуальные проблемы политической аналитики.	21
Глава 2. Формирование внешнеполитических стратегий США в конце XIX — начале XX в.	33
Глава 3. Киберконфликты и информационные войны в современных внешнеполитических стратегиях.	49
Глава 4. Экополитические стратегии в дискурсивном измерении: теория и практика.	85
Глава 5. Рефлексивные стратегии управления «vуса-рисками»: политическое измерение	117
Глава 6. Стратегии коммуникационного менеджмента.	133
Глава 7. «Форсайт участия» как стратегическая политико- коммуникативная технология исследования и формирования будущего	149
Глава 8. Стратегия прорывного позиционирования и ее применение при продвижении брендов территорий. .	164

Глава 9. Символические стратегии политического позиционирования	189
Глава 10. Государство и религиозные организации: стратегии взаимодействия	204
Глава 11. Модель «больших вызовов» как основа биомедицинского стратегирования в политике современного государства	241
Глава 12. Стратегии и технологии информационного риск-менеджмента: вызовы цифровизации и медиатизации	258

Научное издание

Современные политические стратегии

Коллективная монография

Отв. ред.:

В. А. Гуртов, Д. А. Мальцева

Директор издательства А. А. Галат

Корректор М. Ю. Ивашина

Верстка и дизайн Е. В. Владимировой

Подписано в печать 26.09.22. Формат 60×90 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,6.
Заказ № 926

Издательство Русской христианской гуманитарной академии
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 15
Тел.: (812) 310-7929, +7 (981) 699-6595;
e-mail: rhgapublisher@gmail.com, <http://irhga.ru>

Отпечатано в типографии «Контраст»
192171 Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20

ISBN 978-952-5412-98-7



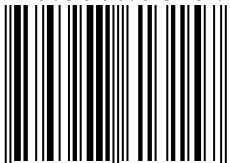
9 789525 412987 >

В книге представлены результаты совместной работы политологов, философов, социологов, экономистов Санкт-Петербургского университета, представляющих различные научные направления и школы и использующих различные методологии, сопоставление которых позволяет в конечном итоге более глубоко понять и оценить все многообразие проблем анализа стратегической мысли и стратегических практик в современном мире.



Издательство РХГА
Санкт-Петербург
2022

ISBN 978-5-907613-15-7



9 785907 613157 >